Джек Лондон

Белый Клык

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПОГОНЯ ЗА ДОБЫЧЕЙ

Темный еловый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишенный признаков жизни с ее движением, был так пустынен и холоден, что дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее скорби, слышался здесь — смех безрадостный, точно улыбка сфинкса, смех, леденящий своим бездушием, как стужа. Это извечная мудрость — властная, вознесенная над миром — смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь — дикая, оледеневшая до самого сердца Северная глушь.

И все же что-то живое двигалось в ней и бросало ей вызов. По замерзшей реке пробиралась упряжка ездовых собак. Взъерошенная шерсть их заиндевела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре. Собаки были в кожаной упряжи, и кожаные постромки шли от нее к волочившимся сзади саням. Сани без полозьев, из толстой березовой коры, всей поверхностью ложились на снег. Передок их был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие снежные волны, вставшие им навстречу. На санях стоял крепко притороченный узкий, продолговатый ящик. Были там и другие вещи: одежда, топор, кофейник, сковорода; но прежде всего бросался в глаза узкий продолговатый ящик, занимавший большую часть саней.

Впереди собак на широких лыжах с трудом ступал человек. За санями шел второй. На санях, в ящике, лежал третий, для которого с земными трудами было покончено, ибо Северная глушь одолела, сломила его, так что он не мог больше ни двигаться, ни бороться. Северная глушь не любит движения. Она ополчается на жизнь, ибо жизнь есть движение, а Северная глушь стремится остановить все то, что движется. Она замораживает воду, чтобы задержать ее бег к морю; она высасывает соки из дерева, и его могучее сердце коченеет от стужи; но с особенной яростью и жестокостью Северная глушь ломает упорство человека, потому что человек — самое мятежное существо в мире, потому что человек всегда восстает против ее воли, согласно которой всякое движение в конце концов должно

прекратиться.

И все-таки впереди и сзади саней шли два бесстрашных и непокорных человека, еще не расставшиеся с жизнью. Их одежда была сшита из меха и мягкой дубленой кожи. Ресницы, щеки и губы у них так обледенели от застывающего на воздухе дыхания, что под ледяной коркой не было видно лица. Это придавало им вид каких-то призрачных масок, могильщиков из потустороннего мира, совершающих погребение призрака. Но это были не призрачные маски, а люди, проникшие в страну скорби, насмешки и безмолвия, смельчаки, вложившие все свои жалкие силы в дерзкий замысел и задумавшие потягаться с могуществом мира, столь же далекого, пустынного и чуждого им, как и необъятное пространство космоса.

Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Почти осязаемое безмолвие окружало их со всех сторон. Оно давило на разум, как вода на большой глубине давит на тело водолаза. Оно угнетало безграничностью и непреложностью своего закона. Оно добиралось до самых сокровенных тайников их сознания, выжимая из него, как сок из винограда, все напускное, ложное, всякую склонность к слишком высокой самооценке, свойственную человеческой душе, и внушало им мысль, что они всего лишь ничтожные, смертные существа, пылинки, мошки, которые прокладывают свой путь наугад, не замечая игры слепых сил природы.

Прошел час, прошел другой. Бледный свет короткого, тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронесся слабый, отдаленный вой. Он стремительно взвился вверх, достиг высокой ноты, задержался на ней, дрожа, но не сбавляя силы, а потом постепенно замер. Его можно было принять за стенание чьей-то погибшей души, если б в нем не слышалось угрюмой ярости и ожесточения голода.

Человек, шедший впереди, обернулся, поймал взгляд того, который брел позади саней, и они кивнули друг другу. И снова тишину, как иголкой, пронзил вой. Они прислушались, стараясь определить направление звука. Он доносился из тех снежных просторов, которые они только что прошли.

Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-то сзади, но немного левее.

— Это ведь они за нами гонятся, Билл, — сказал шедший впереди. Голос его прозвучал хрипло и неестественно, и говорил он с явным трудом.

— Добычи у них мало,— ответил его товарищ.— Вот уже сколько дней я не видел ни одного заячьего следа.

Путники замолчали, напряженно прислушиваясь к вою, которыгй поминутно раздавался позади них.

Как только наступила темнота, они повернули собак к елям на берегу реки и остановились на привал. Гроб, снятый с саней, служил им и столом и скамьей. Сбившись в кучу по другую сторону костра, собаки рычали и грызлись, но не выказывали ни малейшего желания убежать в темноту.

— Что-то они уж слишком жмутся к огню,— сказал Билл.

Генри, присевший на корточки перед костром, чтобы установить на огне кофейник с куском льда, молча кивнул. Заговорил он только после того, как сел на гроб и принялся за еду.

— Шкуру свою берегут. Знают, что тут их накормят, а там они сами пойдут кому-нибудь на корм. Собак не проведешь.

Билл покачал головой:

— Кто их знает!

Товарищ посмотрел на него с любопытством.

— Первый раз слышу, чтобы ты сомневался в их уме.

— Генри,— сказал Билл, медленно разжевывая бо-

бы, — а ты не заметил, как собаки грызлись, когда я кормил их?

— Действительно, возни было больше, чем всегда,—подтвердил Генри.

— Сколько у нас собак, Генри?

— Шесть.

— Так вот… — Билл сделал паузу, чтобы придать больше веса своим словам. — Я тоже говорю, что у нас шесть собак. Я взял шесть рыб из мешка, дал каждой собаке по рыбе. И одной не хватило, Генри.

— Значит, обсчитался.

— У нас шесть собак, — безучастно повторил Билл. — Я взял шесть рыб. Одноухому рыбы не хватило. Мне пришлось взять из мешка еще одну рыбу.

— У нас всего шесть собак, — стоял на своем Генри.

— Генри,— продолжал Билл, — я не говорю, что все были собаки, но рыба досталась семерым.

Генри перестал жевать, посмотрел через костер на собак и пересчитал их.

— Сейчас там только шесть, — сказал он.

— Седьмая убежала, я видел, — со спокойной настойчивостью проговорил Билл. — Их было семь.

Генри взглянул на него с состраданием и сказал:

— Поскорее бы нам с тобой добраться до места.

— Это как же понимать?

— А так, что от этой поклажи, которую мы везем, ты сам не свой стал, вот тебе и мерещится бог знает что.

— Я об этом уж думал, — ответил Билл серьезно. — Как только она побежала, я сразу взглянул на снег и увидел следы; потом сосчитал собак — их было шесть. А следы — вот они. Хочешь взглянуть? Пойдем — покажу.

Генри ничего ему не ответил и молча продолжал жевать. Съев бобы, он запил их горячим кофе, вытер рот рукой и сказал:

— Значит, по-твоему, это…

Протяжный тоскливый вой не дал ему договорить. Он молча прислушался, а потом закончил начатую фразу, ткнув пальцем назад, в темноту:

— …это гость оттуда? Билл кивнул.

— Как ни вертись, больше ничего не придумаешь. Ты же сам слышал, какую грызню подняли собаки.

Протяжный вой слышался все чаще и чаще, издалека доносились ответные завывания,— тишина превратилась в сущий ад. Вой несся со всех сторон, и собаки в страхе сбились в кучу так близко к костру, что огонь чуть ли не подпаливал им шерсть.

Билл подбросил хвороста в костер и закурил трубку.

— Я вижу, ты совсем захандрил, — сказал Генри.

— Генри… — Билл задумчиво пососал трубку. — Я все думаю, Генри: он куда счастливее нас с тобой. — И Билл постучал пальцем по гробу, на котором они сидели — Когда мы умрем, Генри, хорошо, если хоть кучка камней будет лежать над нашими телами, чтобы их не сожрали собаки.

— Да ведь ни у тебя, ни у меня нет ни родни, ни денег,— сказал Генри. — Вряд ли нас с тобой повезут хоронить в такую даль, нам такие похороны не по карману.

— Чего я никак не могу понять, Генри, это — зачем человеку, который был у себя на родине не то лордом, не то вроде этого и ему не приходилось заботиться ни о еде, ни о теплых одеялах, — зачем такому человеку понадобилось рыскать на краю света, по этой богом забытой стране?..

— Да. Сидел бы дома, дожил бы до старости, — согласился Генри.

Его товарищ открыл было рот, но так ничего и не сказал. Вместо этого он протянул руку в темноту, стеной надвигавшуюся на них со всех сторон. Во мраке нельзя было разглядеть никаких определенных очертаний; виднелась только пара глаз, горящих, как угли.

Генри молча указал на вторую пару и на третью. Круг горящих глаз стягивался около их стоянки. Время от времени какая-нибудь пара меняла место или исчезала, с тем чтобы снова появиться секундой позже.

Собаки беспокоились все больше и больше и вдруг, охваченные

страхом, сбились в кучу почти у самого костра, подползли к людям и прижались к их ногам. В свалке одна собака попала в костер; она завизжала от боли и ужаса, и в воздухе запахло паленой шерстью. Кольцо глаз на минуту разомкнулось и даже чуть-чуть отступило назад, но как только собаки успокоились, оно снова оказалось на прежнем месте.

— Вот беда, Генри! Патронов мало!

Докурив трубку, Билл помог своему спутнику разложить меховую постель и одеяло поверх еловых веток, которые он еще перед ужином набросал на снег. Генри крякнул и принялся развязывать мокасины.

— Сколько у тебя осталось патронов? — спросил он.

— Три, — послышалось в ответ. — А надо бы триста. Я бы им показал, дьяволам!

Он злобно погрозил кулаком в сторону горящих глаз и стал устанавливать свои мокасины перед огнем.

— Когда только эти морозы кончатся! — продолжал Билл. — Вот уже вторую неделю все пятьдесят да пятьдесят градусов. И зачем только я пустился в это путешествие, Генри! Не нравится оно мне. Не по себе мне как-то. Приехать бы уж поскорее, и дело с концом! Сидеть бы нам с тобой сейчас у камина в форте Мак-Гэрри, играть в криббедж… Много бы я дал за это!

Генри проворчал что-то и стал укладываться. Он уже задремал, как вдруг голос товарища разбудил его:

— Знаешь, Генри, что меня беспокоит? Почему собаки не накинулись на того, пришлого, которому тоже досталась рыба?

— Уж очень ты стал беспокойный, Билл, — послышался сонный ответ. — Раньше за тобой этого не водилось. Перестань болтать, спи, а утром встанешь как ни в чем не бывало. Изжога у тебя, оттого ты и беспокоишься.

Они спали рядом, под одним одеялом, тяжело дыша во сне. Костер потухал, и круг горящих глаз, оцепивших стоянку, смыкался все теснее и теснее.

Собаки жались одна к другой, угрожающе рычали, когда какая-нибудь пара глаз подбиралась слишком близко. Вот они зарычали так громко, что Билл проснулся. Осторожно, стараясь не разбудить товарища, он вылез из-под одеяла и подбросил хвороста в костер. Огонь вспыхнул ярче, и кольцо глаз подалось назад.

Билл посмотрел на сбившихся в кучу собак, протер глаза, вгляделся попристальнее и снова забрался под одеяло.

— Генри! — окликнул он товарища. — Генри! Генри застонал,

просыпаясь, и спросил:

— Ну, что там?

— Ничего, — услышал он, — только их опять семь. Я сейчас пересчитал.

Генри встретил это известие ворчанием, тотчас же перешедшим в храп, и снова погрузился в сон.

Утром он проснулся первым и разбудил товарища. До рассвета оставалось еще часа три, хотя было уже шесть часов утра. В темноте Генри занялся приготовлением завтрака, а Билл свернул постель и стал укладывать вещи в сани.

— Послушай, Генри, — спросил он вдруг, — сколько, ты говоришь, у нас было собак?

— Шесть.

— Вот и неверно! — заявил он с торжеством.

— Опять семь? — спросил Генри.

— Нет, пять. Одна пропала.

— Что за дьявол! — сердито крикнул Генри, и, бросив стряпню, пошел пересчитать собак.

— Правильно, Билл, — сказал он. — Фэтти сбежал.

— Улизнул так быстро, что и не заметили. Пойди-ка сыщи его теперь.

— Пропащее дело, — ответил Генри. — Живьем слопали. Он, наверное, не один раз взвизгнул, когда эти дьяволы принялись его рвать.

— Фэтти всегда был глуповат, — сказал Билл.

— У самого глупого пса все-таки хватит ума не идти на верную смерть.

Он оглядел остальных собак, быстро оценивая в уме достоинства каждой.

— Эти умнее, они такой штуки не выкинут.

— Их от костра и палкой не отгонишь, — согласился Билл. — Я всегда считал, что у Фэтти не все в порядке.

Таково было надгробное слово, посвященное собаке, погибшей на Северном пути, — и оно было ничуть не скупее многих других эпитафий погибшим собакам, да, пожалуй, и людям.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВОЛЧИЦА

Позавтракав и уложив в сани свои скудные пожитки, Билл и Генри покинули приветливый костер и двинулись в темноту. И тотчас же послышался вой — дикий, заунывный вой; сквозь мрак и холод он долетал до них отовсюду. Путники шли молча. Рассвело в девять часов.

В полдень небо на юге порозовело — в том месте, где выпуклость земного шара встает преградой между полуденным солнцем и страной Севера. Но розовый отблеск быстро померк. Серый дневной свет, сменивший его, продержался до трех часов, потом и он погас, и над пустынным безмолвным краем опустился полог арктической ночи.

Как только наступила темнота, вой, преследовавший путников и справа, и слева, и сзади, послышался ближе; по временам он раздавался так близко, что собаки не выдерживали и начинали метаться в постромках.

После одного из таких припадков панического страха, когда Билл и Генри снова привели упряжку в порядок, Билл сказал:

— Хорошо бы они на какую-нибудь дичь напали и оставили нас в покое.

— Да, слушать их малоприятно,—согласился Генри. И они замолчали до следующего привала.

Генри стоял, нагнувшись, над закипающим котелком с бобами и подкладывал туда колотый лед, когда за его спиной вдруг послышался звук удара, возглас Билла и пронзительный визг. Он выпрямился и успел разглядеть только неясные очертания какого-то зверя, промчавшегося по снегу и скрывшегося в темноте. Потом Генри увидел, что Билл не то с торжествующим, не то с убитым видом стоит среди собак, держа в одной руке палку, а в другой хвост вяленого лосося.

— Половину все-таки утащил! — крикнул он.— Зато я всыпал ему как следует. Слышал визг?

— А кто это? — спросил Генри.

— Не разобрал. Могу только сказать, что ноги, и пасть, и шкура у него имеются, как у всякой собаки.

— Ручной волк, что ли?

— Волк или не волк, только, должно быть, действительно ручной, если является прямо к кормежке и хватает рыбу.

Этой ночью, когда они сидели после ужина на ящике, покуривая трубки, круг горящих глаз сузился еще больше.

— Хорошо бы они стадо лосей где-нибудь спугнули и оставили нас в покое, — сказал Билл.

Его товарищ пробормотал что-то не совсем любезное, и минут двадцать они сидели молча: Генри —уставившись на огонь, а Билл—на круг горящих глаз, светившийся в темноте, совсем близко от костра.

— Хорошо было бы сейчас подкатить к Мак-Гэрри… — снова начал Билл.

— Да брось ты свое «хорошо бы», перестань мыть! — не выдержал Генри. — Изжога у тебя, вот ты и скулишь. Выпей соды — сразу полегчает, и мне с тобою будет веселее.

Утром Генри разбудила отчаянная брань. Он поднялся на локте и увидел, что Билл стоит среди собак у разгорающегося костра и с искаженным от бешенства лицом яростно размахивает руками.

— Эй! — крикнул Генри. — Что случилось?

— Фрог убежал, — услышал он в ответ.

— Быть не может!

— Говорю тебе, убежал.

Генри выскочил из-под одеяла и кинулся к собакам.

Внимательно пересчитав их, он присоединил свой голос к проклятиям, которые его товарищ посылал по адресу всесильной Северной глуши, лишившей их еще одной собаки.

— Фрог был самый сильный во всей упряжке, — закончил свою речь Билл.

— И ведь смышленый! — прибавил Генри.

Такова была вторая эпитафия за эти два дня.

Завтрак прошел невесело; оставшуюся четверку собак запрягли в сани. День этот был точным повторением многих предыдущих дней. Путники молча брели по снежной пустыне. Безмолвие нарушал лишь вой преследователей, которые гнались за ними по пятам, не показываясь на глаза. С наступлением темноты, когда погоня, как и следовало ожидать, приблизилась, вой послышался почти рядом; собаки дрожали от страха, метались и путали постромки, еще больше угнетая этим людей.

— Ну, безмозглые твари, теперь уж никуда не денетесь, — с довольным видом сказал Билл на очередной стоянке.

Генри оставил стряпню и подошел посмотреть. Его товарищ привязал собак по индейскому способу, к палкам. На шею каждой собаки он надел кожаную петлю, к петле привязал толстую длинную палку — вплотную к

шее; другой конец палки был прикреплен кожаным ремнем к вбитому в землю колу. Собаки не могли перегрызть ремень около шеи, а палки мешали им достать зубами привязь у кола.

Генри одобрительно кивнул головой.

— Одноухого только таким способом и можно удержать. Ему ничего не стоит перегрызть ремень — все равно что ножом полоснуть. А так к утру все целы будут.

— Ну еще бы! — сказал Билл. — Если хоть одна пропадет, я завтра от кофе откажусь.

— А ведь они знают, что нам нечем их припугнуть, — заметил Генри, укладываясь спать и показывая на мерцающий круг, который окаймлял их сгоян-ку. — Пальнуть бы в них разок-другой — живо бы уважение к нам почувствовали. С каждой ночью псе ближе и ближе подбираются. Отведи глаза от огня, вглядись-ка в ту сторону. Ну? Видел вон того?

Оба стали с интересом наблюдать за смутными силуэтами, двигающимися позади костра. Пристально всматриваясь туда, где в темноте сверкала пара глаз, можно было разглядеть очертание зверя. По временам удавалось даже заметить, как эти звери переходят с места на место.

Возня среди собак привлекла внимание Билла и Генри. Нетерпеливо повизгивая, Одноухий то рвался с привязи в темноту, то, отступая назад, с остервенением грыз палку.

— Смотри, Билл, — прошептал Генри.

В круг, освещенный костром, неслышными шагами, боком, проскользнул зверь, похожий на собаку. Он подходил трусливо и в то же время нагло, устремив все внимание на собак, но не упуская из виду и людей. Одноухий рванулся к пришельцу, насколько позволяла палка, и нетерпеливо заскулил.

— Этот болван, кажется, ни капли не боится, — тихо сказал Билл.

— Волчица, — шепнул Генри. — Теперь я понимаю, что произошло с Фэтти и с Фрогом. Стая выпускает ее как приманку. Она завлекает собак, а остальные набрасываются и сжирают их.

В огне что-то затрещало. Головня откатилась в сторону с громким шипением. Испуганный зверь одним прыжком скрылся в темноте.

— Знаешь, что я думаю, Генри? — сказал Билл.

— Что?

— Это та самая, которую я огрел палкой.

— Можешь не сомневаться, — ответил Генри.

— Я вот что хочу сказать, — продолжал Билл, — видно, она привыкла

к кострам, а это весьма подозрительно.

— Она знает больше, чем полагается знать уважающей себя волчице, — согласился Генри. — Волчица, которая является к кормежке собак, — бывалый зверь.

— У старика Виллэна была когда-то собака, и она ушла вместе с волками, — размышлял вслух Билл. — Кому это знать, как не мне? Я подстрелил ее в стае волков на лосином пастбище у Литл-Стика. Старик Виллан плакал, как ребенок. Говорил, что целых три года ее не видел. И все эти три года она бегала с волками.

— Это не волк, а собака, и ей не раз приходилось есть рыбу из рук человека. Ты попал в самую точку, Билл.

— Если мне только удастся, я ее уложу, и она будет не волк и не собака, а просто падаль, — заявил Билл. — Нам больше нельзя собак терять.

— Да ведь у тебя только три патрона, — возразил ему Генри.

— А я буду целиться наверняка, — последовал ответ. Утром Генри снова разжег костер и занялся приготовлением завтрака под храп товарища.

— Уж больно ты хорошо спал, — сказал он, поднимая его ото сна. — Будить тебя не хотелось.

Еще не проснувшись как следует, Билл принялся за еду. Заметив, что его кружка пуста, он потянулся за кофейником. Но кофейник стоял далеко, возле Генри.

— Слушай, Генри, — сказал он с мягким упреком, — ты ничего не забыл?

Генри внимательно огляделся по сторонам и покачал головой. Билл протянул ему пустую кружку.

— Не будет тебе кофе, —объявил Генри.

— Неужели весь вышел? — испуганно спросил Билл.

— Нет, не вышел.

— Боишься, что у меня желудок испортится?

— Нет, не боюсь.

Краска гнева залила лицо Билла.

— Так в чем же тогда дело, объясни, не томи меня, — сказал он.

— Спэнкер убежал, — ответил Генри. Медленно, с видом полнейшей покорности судьбе Билл повернул голову и, не сходя с места, пересчитал собак.

— Как это случилось? — безучастно спросил он. Генри пожал плечами.

— Не знаю. Должно быть, Одноухий перегрыз ему ремень. Сам-то он,

конечно, не мог это сделать.

— Проклятая тварь! — медленно проговорил Билл, ничем не выдавая кипевшего в нем гнева. — У себя ремень перегрызть не мог, так у Спэнкера перегрыз.

— Ну, для Спэнкера теперь все жизненные тревоги кончились. Волки, наверно, уже переварили его, и теперь он у них в кишках. — Такую эпитафию прочел Генри третьей собаке. — Выпей кофе, Билл.

Но Билл покачал головой.

— Ну, выпей, — настаивал Генри, подняв кофейник. Билл отодвинул свою кружку.

— Будь я проклят, если выпью! Сказал, что не буду, если собака пропадет, — значит, не буду.

— Прекрасный кофе! — соблазнял его Генри.

Но Билл не сдался и позавтракал всухомятку, сдабривая еду нечленораздельными проклятиями по адресу Одноухого, сыгравшего с ними такую скверную шутку.

— Сегодня на ночь привяжу их всех поодиночке, — сказал Билл, когда они тронулись в путь.

Пройдя не больше ста шагов, Генри, шедший впереди, нагнулся и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыжи. В темноте он не мог разглядеть, что это такое, но узнал на ощупь и швырнул эту вещь назад, так что она стукнулась о сани и отскочила прямо к лыжам Билла.

— Может быть, тебе это еще понадобится, — сказал Генри.

Билл ахнул. Вот все, что осталось от Спэнкера, — палка, которая была привязана ему к шее.

— Начисто сожрали, — сказал Билл. — И даже ремней на палке не оставили. Здорово же они проголодались, Генри… Чего доброго, еще и до нас с тобой доберутся.

Генри вызывающе рассмеялся.

— Правда, волки никогда за мной не гонялись, но мне приходилось и хуже этого, а все-таки жив остался. Десятка назойливых тварей еще недостаточно, чтобы доконать твоего покорного слугу, Билл!

— Посмотрим, посмотрим… — зловеще пробормотал его товарищ.

— Ну вот, когда будем подъезжать к Мак-Гэрри, тогда и посмотришь.

— Не очень-то я на это надеюсь, — стоял на своем Билл.

— Ты просто не в духе, и больше ничего, — решительно заявил Генри. — Тебе надо хины принять. Вот дай только до Мак-Гэрри добраться, я тебе вкачу хорошую дозу.

Билл проворчал что-то, выражая свое несогласие с таким диагнозом, и

погрузился в молчание.

День прошел, как и все предыдущие.

Рассвело в девять часов. В двенадцать горизонт на юге порозовел от невидимого солнца, и наступил хмурый день, который через три часа должна была поглотить ночь.

Как раз в ту минуту, когда солнце сделало слабую попытку выглянуть из-за горизонта, Билл вынул из саней ружье и сказал:

— Ты не останавливайся, Генри. Я пойду взглянуть, что там делается.

— Не отходи от саней! — крикнул ему Генри. — Ведь у тебя всего три патрона. Кто его знает, что может случиться…

— Ага! Теперь ты заскулил? — торжествующе спросил Билл.

Генри промолчал и пошел дальше один, то и дело беспокойно оглядываясь назад в пустынную мглу, где исчез его товарищ.

Час спустя Билл догнал сани, сократив расстояние напрямик.

— Широко разбрелись, — сказал он, — повсюду рыщут, но и от нас не отстают. Видно, уверены, что мы от них не уйдем. Решили потерпеть немного, не хотят упускать ничего съедобного.

— То есть им кажется, что мы не уйдем от них, — подчеркнул Генри.

Но Билл оставил эти слова без внимания.

— Я некоторых видел — тощие! Наверно, давно им ничего не перепадало, если не считать Фэтти, Фрога и Спэнкера. А стая большая, съели и не почувствовали. Здорово отощали. Ребра, как стиральная доска, и животы совсем подвело. Одним словом, дошли до крайности. Того и гляди всякий страх забудут, а тогда держи ухо востро!

Через несколько минут Генри, который шел теперь за санями, издал тихий предостерегающий свист.

Билл оглянулся и спокойно остановил собак. За поворотом, который они только что прошли, по их свежим следам бежал поджарый пушистый зверь. Принюхиваясь к снегу, он бежал легкой, скользящей рысцой. Когда люди остановились, остановился и он, вытянув морду и втягивая вздрагивающими ноздрями доносившиеся до него запахи.

— Она. Волчица, — сказал Билл.

Собаки лежали на снегу. Он прошел мимо них к товарищу, стоявшему около саней. Оба стали разглядывать странного зверя, который уже несколько дней преследовал их и уничтожил половину упряжки.

Выждав и осмотревшись, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторял этот маневр до тех пор, пока не подошел к саням ярдов на сто, потом остановился около слей, поднял морду и, поводя носом, стал внимательно следить за наблюдавшими за ним людьми. В этом взгляде

было что-то тоскливое, напоминавшее взгляд собаки, но без тени собачьей преданности. Это была тоска, рожденная голодом, жестоким, как волчьи клыки, безжалостным, как стужа.

Для волка зверь был велик, и, несмотря на его худобу, видно было, что он принадлежит к самым крупным представителям своей породы.

— Ростом фута два с половиной, — определил Генри. — И от головы до хвоста наверняка около пяти будет.

— Не совсем обычная масть для волка, — сказал Билл. — Я никогда рыжих не видал. А этот какой-то красновато-коричневый.

Билл ошибался. Шерсть у зверя была настоящая волчья. Преобладал в ней серый волос, но легкий красноватый оттенок, то исчезающий, то появляющийся снова, создавал обманчивое впечатление — шерсть казалась то серой, то вдруг отливала рыжинкой.

— Самая настоящая ездовая лайка, только покрупнее, — сказал Билл. — Того и гляди хвостом завиляет.

— Эй ты, лайка! — крикнул он. — Подойди-ка сюда… Как там тебя зовут!

— Да она ни капельки не боится, — засмеялся Генри. Его товарищ крикнул громче и погрозил зверю кулаком, однако тог не проявил ни малейшего страха и только еще больше насторожился. Он продолжал смотреть на них все с той же беспощадной голодной тоской. Перед ним было мясо, а он голодал. И если бы у него только хватило смелости, он кинулся бы на людей и сожрал их.

— Слушай, Генри, — сказал Билл, бессознательно понизив голос до шепота. — У нас три патрона. Но ведь ее можно убить наповал. Тут не промахнешься. Трех собак как не бывало, надо же положить этому конец. Что ты скажешь?

Генри кивнул головой в знак согласия.

Билл осторожно вытащил ружье из саней, поднял было его, но так и не донес до плеча. Волчица прыгнула с тропы в сторону и скрылась среди елей. Друзья посмотрели друт на друга. Генри многозначительно засвистал.

— Эх, не сообразил я! — воскликнул Билл, кладя ружье на место. — Как же такой волчице не знать ружья, когда она знает время кормежки собак! Говорю тебе, Генри, во всех наших несчастьях виновата она. Если бы не эта тварь, у нас сейчас было бы шесть собак, а не три. Нет, Генри, я до нее доберусь. На открытом месте ее не убьешь, слишком умна. Но я ее выслежу. Я подстрелю эту тварь из засады.

— Только далеко не отходи, — предупредил его Генри. — Если они на

тебя всей стаей набросятся, три патрона тебе помогут, как мертвому припарки. Уж очень это зверье проголодалось. Смотри, Билл, попадешься им!

В эту ночь остановка была сделана рано. Три собаки не могли везти сани так быстро и так подолгу, как это делали шесть; они заметно выбились из сил. Билл привязал их подальше друг от друга, чтобы они не перегрызли ремней, и оба путника сразу легли спать. Но волки осмелели и ночью не раз будили их. Они подходили так близко, что собаки начинали бесноваться от страха, и, для того чтобы удерживать осмелевших хищников на расстоянии, приходилось то и дело подкладывать сучья в костер.

— Моряки рассказывают, будто акулы любят плавать за кораблями, — сказал Билл, забираясь под одеяло после одной из таких прогулок к костру. — Так вот, волки — это сухопутные акулы. Они свое дело получше нас с тобой знают и бегут за нами вовсе не для моциона. Попадемся мы им, Генри. Вот увидишь, попадемся.

— Ты, можно считать, уже попался, если столько говоришь об этом, — отрезал его товарищ. — Кто боится порки, тот все равно что выпорот, а ты все равно что у волков на зубах.

— Они приканчивали людей и получше нас с тобой, — ответил Билл.

— Да перестань ты скулить! Сил моих больше нет!

Генри сердито перевернулся на другой бок, удивляясь тому, что Билл промолчал. Это на него не было похоже, потому что резкие слова легко выводили его из себя. Генри долго думал об этом, прежде чем заснуть, но в конце концов веки его начали слипаться, и он погрузился в сон с такой мыслью: «Хандрит Билл. Надо будет растормошить его завтра».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕСНЬ ГОЛОДА

Поначалу день сулил удачу. За ночь не пропало ни одной собаки, и Генри с Биллом бодро двинулись в путь среди окружающего их безмолвия, мрака и холода. Билл как будто не вспоминал о мрачных предчувствиях, тревоживших его прошлой ночью, и даже изволил подшутить над собаками, когда на одном из поворотов они опрокинули сани. Все смешалось в кучу. Перевернувшись, сани застряли между деревом и громадным валуном, и, чтобы разобраться во всей этой путанице, пришлось распрягать собак. Путники нагнулись над санями, стараясь поднять их, как вдруг Генри увидел, что Одноухий убегает в сторону.

— Назад, Одноухий! — крикнул он, вставая с колен и глядя собаке вслед.

Но Одноухий припустил еще быстрее, волоча по снегу постромки. А там, на только что пройденном ими пути, его поджидала волчица. Подбегая к ней, Одноухий навострил уши, перешел на легкий мелкий шаг, потом остановился. Он глядел на нее внимательно, недоверчиво, но с жадностью. А она скалила зубы, как будто улыбаясь ему вкрадчивой улыбкой, потом сделала несколько игривых прыжков и остановилась. Одноухий пошел к ней все еще с опаской, задрав хвост, навострив уши и высоко подняв голову.

Он хотел было обнюхать ее, но волчица подалась назад, лукаво заигрывая с ним. Каждый раз, как он делал шаг вперед, она отступала назад. И так, шаг за шагом, волчица увлекала Одноухого за собой, все дальше от его надежных защитников — людей. Вдруг как будто неясное опасение остановило Одноухого. Он повернул голову и посмотрел на опрокинутые сани, на своих товарищей по упряжке и на подзывающих его хозяев. Но если что-нибудь подобное и мелькнуло в голове у пса, волчица вмиг рассеяла всю его нерешительность: она подошла к нему, на мгновение коснулась его носом, а потом снова начала, играя, отходить все дальше и дальше.

Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно лежало под перевернутыми санями, и, пока Генри помог ему разобрать поклажу, Одноухий и волчица так близко подошли друг к другу, что стрелять на таком расстоянии было рискованно.

Слишком поздно понял Одноухий свою ошибку. Еще не догадываясь, в чем дело, Билл и Генри увидели, как он повернулся и бросился бежать назад, к ним. А потом они увидели штук двенадцать тощих серых волков, которые мчались под прямым углом к дороге, наперерез Одноухому. В одно мгновение волчица оставила всю свою игривость и лукавство—с рычанием кинулась она на Одноухого. Тот отбросил ее плечом, убедился, что обратный путь отрезан, и, все еще надеясь добежать до саней, бросился к ним по кругу. С каждой минутой волков становилось все больше и больше. Волчица неслась за собакой, держась на расстоянии одного прыжка от нее.

— Куда ты? — вдруг крикнул Генри, схватив товарища за плечо.

Билл стряхнул его руку.

— Довольно! — сказал он. — Больше они ни одной собаки не получат!

С ружьем наперевес он бросился в кустарник, окаймлявший речное русло. Его намерения были совершенно ясны: приняв сани за центр круга, по которому бежала собака. Билл рассчитывал перерезать этот круг в той точке, куда погоня еще не достигла. Среди бела дня, имея в руках ружье, отогнать волков и спасти собаку было вполне возможно.

— Осторожнее, Билл! — крикнул ему вдогонку Генри. — Не рискуй зря!

Генри сел на сани и стал ждать, что будет дальше. Ничего другого ему не оставалось. Билл уже скрылся из виду, но в кустах и среди растущих кучками елей то появлялся, то снова исчезал Одноухий. Генри понял, что положение собаки безнадежно. Она прекрасно сознавала опасность, но ей приходилось бежать по внешнему кругу, тогда как стая волков мчалась по внутреннему, более узкому. Нечего было и думать, что Одноухий сможет настолько опередить своих преследователей, чтобы пересечь их путь и добраться до саней. Обе линии каждую минуту могли сомкнуться. Генри знал, что где-то там, в снегах, заслоненные от него деревьями и кустарником, в одной точке должны сойтись стая волков, Одноухий и Билл.

Все произошло быстро, гораздо быстрее, чем он ожидал. Раздался выстрел, потом еще два — один за другим, и Генри понял, что заряды у Билла вышли. Вслед за тем послышались визги и громкое рычание. Генри различил голос Одноухого, взвывшего от боли и ужаса, и вой раненого, очевидно, волка.

И все. Рычание смолкло. Визг прекратился. Над безлюдным краем снова нависла тишина.

Генри долго сидел на санях. Ему незачем было идти туда: все было ясно, как будто встреча Билла со стаей произошла у него на глазах. Только

один раз он вскочил с места и быстро вытащил из саней топор, но потом снова опустился на сани и хмуро уставился прямо перед собой, а две уцелевшие собаки жались к его ногам и дрожали от страха.

Наконец он поднялся — так устало, как будто мускулы его потеряли всякую упругость, — и стал запрягать. Одну постромку он надел себе на плечи и вместе с собаками потащил сани. Но шел он недолго и, как только стало темнеть, сделал остановку и заготовил как можно больше хвороста; потом накормил собак, поужинал и постелил себе около самого костра.

Но ему не суждено было насладиться сном. Не успел он закрыть глаза, как волки подошли чуть ли не вплотную к огню. Чтобы разглядеть их, уже не нужно было напрягать зрение. Тесным кольцом окружили они костер, и Генри совершенно ясно видел, как одни из них лежали, другие сидели, третьи подползали на брюхе поближе к огню или бродили вокруг него. Некоторые даже спали. Они свертывались на снегу клубочком, по-собачьи, и спали крепким сном, а он сам не мог теперь сомкнуть глаз.

Генри развел большой костер, так как он знал, что только огонь служит прем радой между его телом и клыками голодных волков. Обе собаки сидели у ног своего хозяина — одна справа, другая слева — в надежде, что он защитит их; они выли, взвизгивали и принимались исступленно лаять, если какой-нибудь волк подбирался к костру ближе остальных. Заслышав лай, весь круг приходил в движение, волки вскакивали со своих мест и порывались вперед, нетерпеливо воя и рыча, потом снова укладывались на снегу и один за другим погружались в сон.

Круг сжимался все теснее и теснее. Мало-помалу, дюйм за дюймом, то один, то другой волк ползком подвигался вперед, пока все они не оказывались на расстоянии почти одного прыжка от Генри. Тогда он выхватывал из костра головни и швырял ими в стаю. Это вызывало поспешное отступление, сопровождаемое разъяренным воем и испуганным рычанием, если пущенная меткой рукой головня попадала в какого-нибудь слишком смелого волка.

К утру Генри осунулся, глаза у него запали от бессонницы. В темноте он сварил себе завтрак, а в девять часов, когда дневной свет разогнал волков, принялся за дело, которое обдумал в долгие ночные часы. Он срубил несколько молодых елей и, привязав их высоко к деревьям, устроил помост, затем, перекинув через него веревки от саней, с помощью собак поднял гроб и установил его там, наверху.

— До Билла добрались и до меня, может, доберутся, но вас-то, молодой человек, им не достать, — сказал он, обращаясь к мертвецу, погребенному высоко на деревьях.

Покончив с этим, Генри пустился в путь. Порожние сани легко подпрыгивали за собаками, которые прибавили ходу, зная, как и человек, что опасность минует их только тогда, когда они доберутся до форта Мак-Гэрри. Теперь волки совсем осмелели: спокойной рысцой бежали они позади саней и рядом, высунув языки, поводя тощими боками. Волки были до того худы — кожа да кости, только мускулы проступали, точно веревки, — что Генри удивлялся, как они держатся на ногах и не валятся в снег.

Он боялся, что темнота застанет его в пути. В полдень солнце не только согрело южную часть неба, но даже бледным золотистым краешком показалось над горизонтом. Генри увидел в этом доброе предзнаменование. Дни становились длиннее. Солнце возвращалось в эти края. Но как только приветливые лучи его померкли, Генри сделал привал. До полной темноты оставалось еще несколько часов серого дневного света и мрачных сумерек, и он употребил их на то, чтобы запасти как можно больше хвороста.

Вместе с темнотой к нему пришел ужас. Волки осмелели, да и проведенная без сна ночь давала себя знать. Закутавшись в одеяло, положив топор между ног, он сидел около костра и никак не мог преодолеть дремоту. Обе собаки жались вплотную к нему. Среди ночи он проснулся и в каких-нибудь двенадцати футах от себя увидел большого серого волка, одного из самых крупных во всей стае. Зверь медленно потянулся, точно разленившийся нес, и всей пастью зевнул Генри прямо в лицо, поглядывая на него, как на свою собственность, как на добычу, которая рано или поздно достанется ему.

Такая уверенность чувствовалась в поведении всей стаи. Генри насчитал штук двадцать волков, смотревших на него голодными глазами или спокойно спавших на снегу. Они напоминали ему детей, которые собрались вокруг накрытого стола и ждут только разрешения, чтобы наброситься на лакомство. И этим лакомством суждено стать ему! «Когда же волки начнут свой пир?» — думал он.

Подкладывая хворост в костер, Генри заметил, что теперь он совершенно по-новому относится к собственному телу. Он наблюдал за работой своих мускулов и с интересом разглядывал хитрый механизм пальцев. При свете: костра он несколько раз подряд сгибал их, то поодиночке, то все сразу, то растопыривал, то быстро сжимал в кулак. Он приглядывался к строению ногтей, пощипывал кончики пальцев, то сильнее, то мягче, испытывая чувствительность своей нервной системы. Все это восхищало Генри, и он внезапно проникся нежностью к с воему телу, которое работало так легко, так точно и совершенно. Потом он

бросал боязливый взгляд на волков, смыкавшихся вокруг костра все тес нее, и его, словно громом, поражала вдруг мысль, что это чудесное тело, эта живая плоть есть не что иное, как мясо — предмет вожделения прожорливых зверей, которые разорвут, раздерут его своими клыками, утолят им свой голод так же, как он сам не раз утолял голод мясом лося и зайца.

Он очнулся от дремоты, граничившей с: кошмаром, и увидел перед собой рыжую волчицу. Она сидела в каких-нибудь шести футах от костра и тоскливо поглядывала на человека. Обе собаки скулили и рычали у его ног, но волчица словно и не замечала их. Она смотрела на человека, и в течение нескольких минутой отвечал ей тем же. Вид у нее был совсем не свирепый. В глазах ее светилась страшная тоска, но Генри знал, что тех ка эта порождена таким же страшным голодом. Он был пищей, и вид этой пищи возбуждал в волчице вкусовые ощущения. Пасть ее была разинута, слюна капала на снег, и она облизывалась, предвкушая поживу.

Безумный страх охватил Генри. Он быстро протянул руку за головней, но не успел дотронуться до нее, как волчица отпрянула назад: видимо, она привыкла к тому, чтобы в нее швыряли чем попало. Волчица огрызнулась, оскалив белые клыки до самых десен, тоска в ее глазах сменилась такой кровожадной злобой, что Генри вздрогнул. Он взглянул на свою руку, заметил, с какой ловкостью пальцы держали головню, как они прилаживались ко всем ее неровностям, охватывая со всех сторон шероховатую поверхность, как мизинец, помимо его воли, сам собой отодвинулся подальше от горячего места — взглянул и в ту же минуту ясно представил себе, как белые зубы волчицы вонзятся в эти тонкие, нежные пальцы и разорвут их. Никогда еще Генри не любил своего тела так, как теперь, когда существование его было столь непрочно.

Всю ночь Генри отбивался от голодной стаи горящими головнями, засыпал, когда бороться с дремотой не хватало сил, и просыпался от визга и рычания собак. Наступило утро, но на этот раз дневной свет не прогнал волков. Человек нагграсно ждал, что его преследователи разбегутся. Они по-прежнему кольцом оцепляли костер и смотрели на Генри с такой наглой уверенностью, что он снова лишился мужества, которое вернулось было к нему вместе с рассветом.

Генри тронулся в путь, но едва он вышел из-под защиты огня, как на него бросился самый смелый волк из стаи; однако прыжок был плохо рассчитан, и волк промахнулся. Генри спасся тем, что отпрыгнул назад, и зубы волка щелкнули в нескольких дюймах от его бедра.

Вся стая кинулась к человеку, заметалась вокруг неш, и только горящие

головни отогнали ее на почтителнчие расстояние.

Даже при дневном свете Генри не осмеливался отойти от огня и нарубить хвороста. Шагах в двадцати от саней стояла громадная засохшая ель. Он потратил половину дня, чтобы растянуть до нее цепь костров, все время держа наготове для своих преследователей несколько горящих веток. Добравшись до цели, он огляделся вокруг, высматривая, где больше хвороста, чтобы свалить ель в ту сторону.

Эта ночь была точным повторением предыдущей, с той только разницей, что Генри почти не мог бороться со сном. Он уже не просыпался от рычания собак. К тому же они рычали не переставая, а его усталый, погруженный в дремоту мозг уже не улавливал оттенков в их голосах.

И вдруг он проснулся, будто от толчка. Волчица стояла совсем близко. Машинально он ткнул головней в ее оскаленную пасть. Волчица отпрянула назад, воя от боли, а Генри с наслаждением вдыхал запах паленой шерсти и горелого мяса, глядя, как зверь трясет головой и злобно рычит уже в нескольких шагах от него.

Но на этот раз, прежде чем заснуть, Генри привязал к правой руке тлеющий сосновый сук. Едва он закрывал глаза, как боль от ожога будила его. Так продолжалось несколько часов. Просыпаясь, он отгонял волков горящими головнями, подбрасывал в огонь хвороста и снова привязывал сук к руке. Все шло хорошо; но в одно из таких пробуждений Генри плохо затянул ремень, и, как только глаза его закрылись, сук выпал у него из руки.

Ему снился сон. Форт Мак-Гэрри. Тепло, уютно. Он играет в криббедж с начальником фактории. И ему снится, что волки осаждают форт. Волки воют у самых ворот, и они с начальником по временам отрываются от игры, чтобы прислушаться к вою и посмеяться над тщетными усилиями волков проникнуть внутрь форта. Потом — какой странный сон ему снился! — раздался треск. Дверь распахнулась настежь. Волки ворвались в комнату. Они кинулись на него и на начальника. Как только дверь распахнулась, вой стал оглушительным, он уже не давал ему покоя. Сон принимал какие-то другие очертания. Генри не мог еще понять, какие, и понять это ему мешал вой, не прекращающийся ни на минуту.

А потом он проснулся и услышал вой и рычание уже наяву. Волки всей стаей бросились на него. Чьи-то клыки впились ему в руку. Он прыгнул в костер и, прыгая, почувствовал, как острые зубы полоснули его по ноге. И вот началась битва. Толстые рукавицы защищали его руки от огня, он полными горстями расшвыривал во все стороны горящие угли, и костер стал под конец чем-то вроде вулкана.

Но это не могло продолжаться долго. Лицо у Генри покрылось волдырями, брови и ресницы были опалены, ноги уже не терпели жара. Схватив в руки по головне, он прыгнул ближе к краю костра. Волки отступили. Справа и слева — всюду, куда только падали угли, шипел снег: и по отчаянным прыжкам, фырканью и рычанию можно было догадаться, что волки наступали на них. Расшвыряв головни, человек сбросил с рук тлеющие рукавицы и принялся топать по снегу ногами, чтобы остудить их. Обе собаки исчезли, и он прекрасно знал, что Они послужили очередным блюдом на том затянувшемся пиру, который начался с Фэтти и в один из ближайших дней, может быть, закончится им самим. — А все-таки до меня вы еще не добрались! — крикнул он, бешено погрозив кулаком голодным зверям. Услышав его голос, стая заметалась, дружно зарычала, а волчица подступила к нему почти вплотную и уставилась на него тоскливыми, голодными глазами. Генри принялся обдумывать новый план обороны. Разложив костер широким кольцом, он бросил на тающий снег свою постель и сел на ней внутри этого кольца. Как только человек скрылся за огненной оградой, вся стая окружила ее, любопытствуя, куда он девался. До сих пор им не было доступа к огню, а теперь они расселись около него тесным кругом и, как собаки, жмурились, зевали и потягивались в непривычном для них тепле. Потом волчица уселась на задние лапы, подняла голову и завыла. Волки один за другим подтягивали ей, и наконец вся стая, уставившись мордами в звездное небо, затянула песнь голода.

Стало светать, потом наступил день. Костер догорал. Хворост подходил к концу, надо было пополнить запас. Человек попытался выйти за пределы огненного кольца, но волки кинулись ему навстречу. Горящие головни заставляли их отскакивать в стороны, но назад они уже не убегали. Тщетно старался человек прогнать их. Убедившись наконец в безнадежности своих попыток, он отступил внутрь горящего кольца, и в это время один из волков прыгнул на него, но промахнулся и всеми четырьмя лапами угодил в огонь. Зверь взвыл от страха, огрызнулся и отполз от костра, стараясь остудить на снегу обожженные лапы.

Человек, сгорбившись, сидел на одеяле. По безвольно опущенным плечам и поникшей голове можно было понять, что у него больше нет сил продолжать борьбу. Время от времени он поднимал голову и смотрел на догорающий костер. Кольцо огня И тлеющих углей кое-где уже разомкнулось, распалось на отдельные костры. Свободный проход между ними все увеличивался, а сами костры уменьшались.

— Ну, теперь вы до меня доберетесь, — пробормотал Генри. — Но мне все равно, я хочу спать…

Проснувшись, он увидел между двумя кострами прямо перед собой волчицу, смотревшую на него пристальным взглядом.

Спустя несколько минух, которые показались ему часами, он снова поднял голову. Произошла какая-то непонятная перемена, настолько непонятная для него, что он сразу очнулся. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно. Потом догадался: волки исчезли.

Только по вытоптанному кругом снегу можно было судить, как близко они подбирались к нему.

Волна дремоты снова охватила Генри, голова его упала на колени, но вдруг он вздрогнул и проснулся.

Откуда-то доносились людские голоса, скрип полозьев, нетерпеливое повизгивание собак. От реки к стоянке между деревьями подъезжало четверо нарт. Несколько человек окружили Генри, скорчившегося в кольце угас-сающего огня. Они расталкивали и трясли его, стараясь привести в чувство. Он смотрел на них, как пьяный, и бормотал вялым, сонным голосом:

— Рыжая волчица… приходила к кормежке собак… Сначала сожрала собачий корм… потом собак… А потом Билла…

— Где лорд Альфред? — крикнул ему в ухо один из приехавших, с силой тряхнув его за плечо.

Он медленно покачал головой.

— Его она не тронула… Он там, на деревьях… у последней стоянки.

— Умер?

— Да. В гробу, — ответил Генри.

Он сердито дернул плечом, высвобождаясь от наклонившегося над ним человека.

— Оставьте меня в покое, я не могу… Спокойной ночи…

Веки Генри дрогнули и закрылись, голова упала на грудь. И как только его опустили на одеяло, в морозной тишине раздался громкий храп.

Но к этому храпу примешивались и другие звуки. Издали, еле уловимый на таком расстоянии, доносился вой голодной стаи, погнавшейся за другой добычей, взамен только что оставленного ею человека.

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

БИТВА КЛЫКОВ

Волчица первая услышала звуки человеческих голосов и повизгивание ездовых собак, и она же первая отпрянула от человека, загнанного в круг угасающего огня. Неохотно расставаясь с уже затравленной добычей, стая помедлила несколько минут, прислушиваясь, а потом кинулась следом за волчицей.

Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Он-то и направил стаю по следам волчицы, предостерегающе огрызаясь на более молодых своих собратьев и отгоняя их ударами клыков, когда они отваживались забегать вперед. И это он прибавил ходу, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежавшую по снегу.

Волчица побежала рядом с ним, как будто место это было предназначено для нее, и уже больше не удалялась от стаи. Вожак не рычал и не огрызался на волчицу, когда случайный скачок выносил ее вперед, — напротив, он, по-видимому, был очень расположен к ней, потому что старался все время бежать рядом. А ей это не нравилось, и она рычала и скалила зубы, не ггодпуская его к себе. Иногда волчица не останавливалась даже перед тем, чтобы куснуть его за плечо. В таких случаях вожак не выказывал никакой злобы, а только отскакивал в сторону и делал несколько неуклюжих скачков, всем своим видом и поведением напоминая сконфуженного влюбленного простачка.

Это было единственное, что мешало ему управлять стаей. Но волчицу одолевали другие неприятности. Справа от нее бежал тощий старый волк, серая шкура которого носила следы многих битв. Он все время держался справа от волчицы. Объяснялось это тем, что у него был только один глаз, левый. Старый волк то и дело теснил ее, тыкаясь своей покрытой рубцами мордой то в бок ей, то в плечо, то в шею. Она встречала его ухаживания лязганьем зубов, так же как и ухаживание вожака, бежавшего слева, и, когда оба они начинали приставать к ней одновременно, ей приходилось туго: надо было рвануть зубами обоих, в то же время не отставать от стаи и смотреть себе под ноги. В такие минуты оба волка угрожающе рычали и скалили друг на друга зубы. В другое время они бы подрались, но сейчас даже любовь и соперничество уступали место более сильному чувству — чувству голода, терзающего всю стаю.

После каждого такого отпора старый волк отскакивал от строптивого предмета своих вожделений и сталкивался с молодым, трехлетним волком, который бежал справа, со стороны его слепого глаза. Трехлеток был вполне возмужалый и, если принять во внимание слабость и истощенность остальных волков, выделялся из всей стаи своей силой и живостью. И все-таки он бежал так, что голова его была вровень с плечом одноглазого волка. Лишь только он отваживался поров-няться с ним (что случалось довольно редко), старик рычал, лязгал зубами и тотчас же осаживал его на прежнее место. Однако время от времени трехлеток отставал и украдкой втискивался между ним и волчицей. Этот маневр встречал двойной, даже тройной отпор. Как только волчица начинала рычать, старый волк делал крутой поворот и набрасывался на трехлетка. Иногда заодно со стариком на него набрасывалась и волчица, а иногда к ним присоединялся и вожак, бежавший слева.

Видя перед собой три свирепые пасти, молодой волк останавливался, оседал на задние лапы и, весь ощетинившись, показывал зубы. Замешательство во главе стаи неизменно сопровождалось замешательством и в задних рядах. Волки натыкались на трехлетка и выражали свое недовольство тем, что злобно кусали его за ляжки и за бока. Его положение было опасно, так как голод и ярость обычно сопутствуют друг другу. Но безграничная самоуверенность молодости толкала его на повторение этих попыток, хотя они не имели ни малейшего успеха и доставляли ему лишь одни неприятности.

Попадись волкам какая-нибудь добыча — любовь и соперничество из-за любви тотчас же завладели бы стаей, и ома рассеялась бы. Но положение ее было отчаянное. Волки отощали от длительной голодовки и подвигались вперед гораздо медленнее обычного. В хвосте, прихрамывая, плелись слабые — самые молодые и старики. Сильные шли впереди. Вес они походили скорее на скелеты, чем на настоящих волков. И все-таки в их движениях — если не считать тех, кто прихрамывал, — не было заметно ни усталости, ни малейших усилий. Казалось, что в мускулах, выступавших у них на теле, как персики, таится неиссякаемый запас мощи. За каждым движением стального мускула следовало другое движение, за ним третье, четвертое — и гак без конца.

В тот день волки пробежали много миль. Они бежали и ночью. Наступил следующий день, а они все еще бежали. Оледеневшее мертвое пространство. Нигде ни малейших признаков жизни. Только они одни и двигались в этой застывшей пустыне. Только в них была жизнь, и они рыскали в поисках других живых существ, чтобы растерзать их — и жить,

жить!

Волкам пришлось пересечь не один водораздел и обрыскать гге один ручей в низинах, прежде чем поиски их увенчались успехом. Они встретили лосей. Первой их добычей был крупный лось-самец. Это была жизнь. Это было мясо, и его не защищали ни таинственный костер, ни летающие головни. С раздвоенными копытами и ветвистыми рогами волкам приходилось встречаться не впервые, и они отбросили свое обычное терпение и осторожность. Битва была короткой и жаркой. Лося окружили со всех сторон. Меткими ударами тяжелых копыт огг распарывал волкам животы, пробивал черепа, громадными рогами ломал им кости. Лось подминал их под себя, катаясь по снегу, но он был обречен на гибель, и в конце концов ноги у него подломились. Волчица с остервенением впилась ему в горло, а зубы остальных волков рвали его на части — живьем, не дожидаясь, пока он затихнет и перестанет отбиваться.

Еды было вдоволь. Лось весил свыше восьмисот фунтов — по двадцати фунтов на каждую волчью глотку. Если волки с поразительной выдержкой умели поститься, то не менее поразительна была и быстрота, с которой они ггожирали пищу, и вскоре от великолепного, полного сил животного, столкнувшегося несколько часов назад со стаей, осталось лишь несколько разбросанных по снегу костей.

Теперь волки подолгу отдыхали и спали. На сытый желудок самцы помоложе начали ссориться и драться, и что продолжалось весь остаток дней, предшествовавших распаду стаи. Голод кончился. Волки дошли до богатых дичью мест; охотились они по-прежнему всей стаей, но действовали уже с большей осторожностью, отрезая от небольших лосиных стад, попадавшихся им на пути, стельных самок или старых больных лосей.

И вот наступил день в этой стране изобилия, когда волчья стая разбилась на две. Волчица, молодой вожак, бежавший слева от нее, и Одноглазый, бежавший справа, повели свою половину стаи на восток, к реке Маккензи, и дальше, к озерам. И эта маленькая стая тоже с каждым днем уменьшалась. Волки разбивались на пары — самец с самкой. Острые зубы соперника то и дело отгоняли прочь какого-нибудь одинокого волка.И наконец волчица, молодой вожак, Одноглазый и дерзкий трехлеток остались вчетвером.

К этому времени характер у волчицы окончательно испортился. Следы ее зубов имелись у всех троих ухаживателей. Но волки ни разу не ответили ей тем же, ни разу не попробовали защищаться. Они только подставляли плечи под самые свирепые укусы волчицы, повиливали хвостом и

семенили вокруг нее, стараясь умерить ее гнев. Но если к самке волки проявляли кротость, то по отношению друг к другу они были сама злоба. Свирепость трехлетка перешла все границы. В одну из очередных ссор он подлетел к старому волку с той стороны, с которой теп ничего не видел, и на клочки разорвал ему ухо. Но седой одноглазый старик призвал на помощь против молодости и силы всю свою долголетнюю мудрость и весь свой опыт. Его вытекший глаз и исполосованная рубцами морда достаточно красноречиво говорили о том, какого рода был этот опыт. Слишком много битв пришлось ему пережить на споем веку, чтобы хоть на одну минуту задуматься над тем, как следует поступить сейчас.

Битва началась честно, но нечестно кончилась. Трудно было бы заранее судить о ее исходе, если б к старому вожаку не присоединился молодой; вместе они набросились на дерзкого трехлетка. Безжалостные клыки бывших собратьев вонзались в него со всех сторон. Позабыты были те дни, когда волки вместе охотились, добыча, которую они вместе убивали, голод, одинаково терзавший их троих. Все это было делом прошлого. Сейчас ими владела любовь — чувство еще более суровое и жестокое, чем голод.

Тем временем волчица — причина всех раздоров — с довольным видом уселась на снегу и стала следить за битвой. Ей это даже нравилось. Пришел ее час, — что случается редко, — когда шерсть встает дыбом, клык ударяется о клык, рвет, полосует податливое тело, — и все это только ради обладания ею.

И трехлеток, впервые в своей жизни столкнувшийся с любовью, поплатился за нее жизнью. Оба соперника стояли над его телом. Они смотрели на волчицу, которая сидела на снегу и улыбалась им. Но старый волк был мудр — мудр в делах любви не меньше, чем в битвах. Молодой вожак повернул голову зализать рану на плече. Загривок его был обращен к сопернику. Своим единственным глазом старик углядел, какой удобный случай представляется ему. Кинувшись стрелой на молодого волка, он полоснул его клыками по шее, оставив на ней длинную, глубокую рану и вспоров вену, и тут же отскочил назад.

Молодой вожак зарычал, но его страшное рычание сразу перешло в судорожный кашель. Истекая кровью, кашляя, он кинулся на старого волка, но жизнь уже покидала его, ноги подкашивались, глаза застилал туман, удары и прыжки становились все слабее и слабее. А волчица сидела в сторонке и улыбалась. Зрелище битвы вызывало в ней какое-то смутное чувство радости, ибо такова любовь в Северной глуши, а трагедию ее познает лишь тот, кто умирает. Для тех же, кто остается в живых, она уже

не трагедия, а торжество осуществившегося желания.

Когда молодой волк вытянулся на снегу, Одноглазый гордой поступью направился к волчице. Впрочем, полному торжеству победителя мешала необходимость быть начеку. Он простодушно ожидал резкого приема и так же простодушно удивился, когда волчица не показала ему зубов, — впервые за все это время его встретили так ласково. Она обнюхалась с ним и даже принялась прыгать и резвиться, совсем как щенок. И Одноглазый, забыв свой почтенный возраст и умудренность опытом, тоже превратился в щенка, пожалуй, даже еще более глупого, чем волчица.

Забыты были и побежденные соперники и повесть о любви, кровью написанная на снегу. Только раз вспомнил об этом Одноглазый, когда остановился на минуту, чтобы зализать раны. И тогда губы его злобно задрожали, шерсть на шее и на плечах поднялась дыбом, когти судорожно впились в снег, тело изогнулось, приготовившись к прыжку. Но в следующую же минуту все было забыто, и он бросился вслед за волчицей, игриво манившей его в лес.

А потом они побежали рядом, как добрые друзья, пришедшие наконец к взаимному соглашению. Дни шли, а они не расставались — вместе гонялись за добычей, вместе убивали ее, вместе съедали. Но потом волчицей овладело беспокойство. Казалось, она ищет что-то и никак не может найти. Ее влекли к себе укромные местечки под упавшими деревьями, и она проводила целые часы, обнюхивая запорошенные снегом расселины в утесах и пещеры под нависшими берегами реки. Старого волка все это нисколько не интересовало, но он покорно следовал за ней, а когда эти поиски затягивались, ложился на снег и ждал ее. Не задерживаясь подолгу на одном месте, они пробежали до реки Маккензи и уже не спеша отправились вдоль берега, время от времени сворачивая в поисках добычи на небольшие притоки, но неизменно возвращаясь к реке. Иногда им попадались другие волки, бродившие обычно парами; но ни та, ни другая сторона не выказывала ни радости при встрече, ни дружелюбных чувств, ни желания снова собраться в стаю. Встречались на их пути и одинокие волки. Это были самцы, которые охотно присоединились бы к Одноглазому и его подруге. Но Одноглазый не желал этого, и стоило только волчице стать плечо к плечу с ним, ощетиниться и оскалить зубы, как навязчивые чужаки отступали, поворачивали вспять и снова пускались в свой одинокий путь.

Как-то раз, когда они бежали лунной ночью по затихшему лесу, Одноглазый вдруг остановился. Он задрал кверху морду, напружил хвост и, раздув ноздри, стал нюхать воздух. Потом поднял переднюю лапу, как

собака на стойке. Что-то встревожило его, и он продолжал принюхиваться, стараясь разгадать несущуюся по воздуху весть. Волчица потянула носом и побежала дальше, подбодряя своего спутника. Все еще не успокоившись, он последовал за ней, но то и дело останавливался, чтобы вникнуть в предостережение, которое нес ему ветер.

Осторожно ступая, волчица вышла из-за деревьев на большую поляну. Несколько минут она стояла там одна. Потом весь насторожившись, каждым своим волоском излучая безграничное недоверие, к ней подошел Одноглазый. Они стали рядом, продолжая прислушиваться, всматриваться, поводить носом.

До их слуха донеслись звуки собачьей грызни, гортанные голоса мужчин, пронзительная перебранка женщин и даже тонкий жалобный плач ребенка. С, поляны им были видны только большие, обтянутые кожей вигвамы, пламя костров, которое поминутно заслоняли человеческие фигуры, и дым, медленно поднимающийся н спокойном воздухе. Но их ноздриуловили множество запахов индейского поселка, говорящих о вещах, совершенно непонятных Одноглазому и знакомых волчице до мельчайгггих подробностей. Волчицу охватило странное беспокойство, и она продолжала принюхиваться все с большим и большим наслаждением. Но Одноглазый все еще сомневался. Он нерешительно тронулся с места и выдал этим свои опасения. Волчица повернулась, ткнула его носом в шею, как бы успокаивая, потом снова стала смотреть на поселок. В ее глазах светилась тоска, но это уже не была тоска, рожденная голодом. Она дрожала от охватившего ее желания бежать туда, подкрасться ближе к кострам, вмешаться в собачью драку, увертываться и отскакивать от неосторожных шагов людей.

Одноглазый нетерпеливо топтался возле нее; но вот прежнее беспокойство вернулось к волчице, она снова почувствовала неодолимую потребность найти то, что гак долго искала. Она повернулась и, к большому облегчению Одноглазого, побежала в лес, под прикрытие деревьев.

Бесшумно, как тени, скользя в освещенном луной лесу, они напали на тропинку и сразу уткнулись носом в снег. Следы на тропинке были совсем свежие. Одноглазый осторожно двиг алея вперед, а его подруга следовала за ним по пятам. Их широкие лапы с толстыми подушками мягко, как бархат, ложились на снег. Но вот Одноглазый увидел что-то белое на такой же белой снежной глади. Скользящая поступь Одноглазого скрадывала быстроту его движений, а теггерь он припустил еще быстрее. Вггереди него мелькало какое-то неясное белое ггятно.

Они с волчицей бежали по узкой прогалине, окаймленной по обеим сторонам зарослью молодых елей и выходившей на залитую луной поляну. Старый волк настигал мелькавшее перед ним пятнышко. Каждый его прыжок сокращал расстояние между ними. Вот оно уже совсем близко. Еще один прыжок — и зубы волка вопьются в него. Но прыжка этого так и не ггоследовало. Белое пятно, оказавшееся зайцем, взлетело высоко в воздух прямо над головой Одноглазого и стало подпрыгивать и раскачиваться там, наверху, не касаясь земли, точно танцуя какой-то фантастический танец. С испуганным фырканьем Одноглазый отскочил назад и, припав на снег, грозно зарычал на этот страшный и непонятный предмет. Однако волчица преспокойно обошла его, примерилась к прыжку и подскочила, стараясь схватить зайца. Она взвилась высоко, но промахнулась и только лязгнула зубами. За первым прыжком последовали второй и третий.

Медленно поднявшись, Одноглазый наблюдал за волчицей. Наконец ее промахи рассердили его, он подпрыгнул сам и, ухватив зайца зубами, опустился на землю вместе с ним. Но в ту же минуту сбоку послышался какой-то подозрительный шорох, и Одноглазый увидел склонившуюся над ним молодую елку, которая готова была вот-вот ударить его. Челюсти волка разжались; оскалив зубы, он метнулся от этой непонятной опасности назад, в горле его заклокотало рычание, шерсть встала дыбом от ярости и страха. А стройное деревце выпрямилось, и заяц снова заплясал высоко в воздухе.

Волчица рассвирепела. Она укусила Одноглазого в плечо, а он, испуганный этим неожиданным наскоком, с остервенением полоснул ее зубами по морде. Такой отпор, в свою очередь, оказался неожиданностью для волчицы, и она накинулась на Одноглазого, рыча от негодования. Тот уже понял свою ошибку и попытался умилостивить волчицу, но она продолжала кусать его. Тогда, оставив все надежды на примирение, Одноглазый начал увертываться от ее укусов, пряча голову и подставляя под ее зубы то одно плечо, то другое.

Тем временем заяц продолжал плясать в воздухе. Волчица уселась на снегу, и Одноглазый, боясь теперь своей подруги еще больше, чем таинственной елки, снова сделал прыжок. Схватив зайца и опустившись с ним на землю, он уставился своим единственным глазом на деревце. Как и прежде, оно согнулось до самой земли. Волк съежился, ожидая неминуемого удара, шерсть на нем встала дыбом, но зубы не выпускали добычи. Однако удара не последовало. Деревце так и осталось склоненным над ним. Стоило волку двинуться, как елка тоже двигалась, и он ворчал на

нее сквозь стиснутые челюсти; когда он стоял спокойно, деревце тоже не шевелилось, и волк решил, что так безопаснее. Но теплая кровь зайца была такая вкусная!

Из этого затруднительного положения Одноглазого вывела волчица. Она взяла у него зайца и, пока елка мрожающе раскачивалась и колыхалась над ней, спокойно отгрызла ему голову. Елка сейчас же выпрямилась и больше не беспокоила их, заняв подобающее ей вертикальное положение, в котором дереву положено расти самой природой. А волчица с Одноглазым поделили между собой добычу, пойманную для них этим таинственным деревцем.

Много попадалось им таких тропинок и прогалин, где зайцы раскачивались высоко в воздухе, и волчья пара обследовала их все. Волчица всегда была первой, а Одноглазый шел за ней следом, наблюдая и учась, как надо обкрадывать западни. И наука эта впоследствии сослужила ему хорошую службу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛОГОВИЩЕ

Два дня и две ночи бродили волчица и Одноглазый около индейского поселка. Одноглазый беспокоился и трусил, а волчицу поселок чем-то притягивал, и она никак не хотела уходить. Но однажды утром, когда в воздухе, совсем неподалеку от них, раздался выстрел и пуля ударила в дерево всего в нескольких дюймах от головы Одноглазого, волки уже больше не колебались и пустились в путь длинными ровными прыжками, быстро увеличивая расстояние между собой и опасностью.

Они бежали недолго — всего дня три. Волчица все с большей настойчивостью продолжала свои поиски. Она сильно отяжелела за эти дни и не могла быстро бегать. Однажды, погнавшись за зайцем, которого в обычное время ей ничего не стоило бы поймать, она вдруг оставила погоню и прилегла на снег отдохнуть. Одноглазый подошел к ней, но не успел он тихонько коснуться носом ее шеи, как она с такой яростью укусила его, что он упал на спину и, являя собой весьма комическое зрелище, стал отбиваться от ее зубов. Волчица сделалась еще раздражительнее, чем прежде; но Одноглазый был терпелив и заботлив, как никогда.

И вот наконец волчица нашла то, что искала. Нашла в нескольких милях вверх по течению небольшого ручья, летом впадавшего в Маккензи; теперь, промерзнув до каменистого дна, ручей затих, превратившись от истоков до устья в сплошной лед. Волчица усталой рысцой бежала позади Одноглазого, ушедшего далеко вперед, и вдруг приметила, что в одном месте высокий глинистый берег нависает над ручьем. Она свернула в сторону и подбежала туда. Буйные весенние ливни и тающие снега размыли узкую трещину в береге и образовали там небольшую пещеру.

Волчица остановилась у входа в нее и внимательно оглядела наружную стену пещеры, потом обежала ее с обеих сторон до того места, где обрыв переходил в пологий скат. Вернувшись назад, она пошла в пещеру через узкое отверстие. Первые фута три ей пришлось ползти, потом стены раздались вширь и ввысь, и волчица вышла на небольшую круглую площадку футов шести в диаметре. Головой она почти касалась потолка. Внутри было сухо и уютно. Волчица принялась обследовать пещеру, а Одноглазый стоял у входа и терпеливо наблюдал за ней. Опустив голову и

почти касаясь носом близко сдвинутых лап, волчица несколько раз перевернулась вокруг себя, не то с усталым вздохом, не то с ворчанием подогнула ноги и растянулась на земле, головой ко входу. Одноглазый, навострив уши, посмеивался над ней, и волчице было видно, как кончик его хвоста добродушно ходит взад и вперед на фоне светлого пятна — входа в пещеру. Она прижала свои острые уши, открыла пасть и высунула язык, всем своим видом выражая полное удовлетворение и спокойствие.

Одноглазому хотелось есть. Он заснул у входа в пещеру, но сон его был тревожен. Он то и дело просыпался и, навострив уши, прислушивался к тому, что говорил ему мир, залитый ярким апрельским солнцем, играющим на снегу. Лишь только Одноглазый начинал дремать, до ушей его доносился еле уловимый шепот невидимых ручейков, и он поднимал голову, напряженно вслушиваясь в эти звуки. Солнце снова появилось на небе, и пробуждающийся Север слал свой призыв волку. Все вокруг оживало. В воздухе чувствовалась весна, под снегом зарождалась жизнь, деревья набухали соком, почки сбрасывали с себя ледяные оковы.

Одноглазый беспокойно поглядывал на свою подругу, но она не выказывала ни малейшего желания подняться с места. Он посмотрел по сторонам, увидел стайку пуночек, вспорхнувших неподалеку от него, приподнялся, но, взглянув еще раз на волчицу, лег и снова задремал. До его слуха донеслось слабое жужжание. Сквозь дремоту он несколько раз обмахнул лапой морду — потом проснулся. У кончика его носа с жужжанием вился комар. Комар был большой, — вероятно, он провел всю зиму в сухом пне, а теперь солнце вывело его из оцепенения. Волк был не в силах противиться зову окружающего мира; кроме того, ему хотелось есть.

Одноглазый подполз к своей подруге и попробовал убедить ее подняться. Но она только огрызнулась на него. Тогда волк решил отправиться один и, выйдя на яркий солнечный свет, увидел, что снег под ногами проваливается и путешествие будет делом не легким. Он побежал вверх по замерзшему ручью, где снег в тени деревьев был все еще твердый. Побродив часов восемь, Одноглазый вернулся затемно, еще голоднее прежнего. Он не раз видел дичь, но не мог поймать ее. Зайцы легко скакали по таявшему насту, а он проваливался и барахтался в снегу.

Какое-то смутное подозрение заставило Одноглазого остановиться у входа в пещеру. Оттуда доносились странные слабые звуки. Они не были похожи на голос волчицы, но вместе с тем в них чудилось что-то знакомое. Он осторожно вполз внутрь и услышал предостерегающее рычание своей подруги. Это не смутило Одноглазого, но заставило все же держаться в некотором отдалении; его интересовали другие звуки — слабое,

приглушенное повизгивание и плач.

Волчица сердито заворчала на него. Одноглазый свернулся клубком у входа в пещеру и заснул. Когда наступило утро и в логовище проник тусклый свет, волк снова стал искать источник этих смутно знакомых звуков. В предостерегающем рычании волчицы появились новые нотки: в нем слышалась ревность, — и это заставляло волка держаться от нее подальше. И все-таки ему удалось разглядеть, что между ногами волчицы, прильнув к ее брюху, копошились пять маленьких живых клубочков; слабые, беспомощные, они тихо повизгивали и не открывали глаз на свет. Волк удивился. Это случалось не в первый раз в его долгой и удачливой жизни, это случалось часто, и все-таки каждый раз он заново удивлялся. Волчица смотрела на него с беспокойством. Время от времени она тихо ворчала, а когда волк, как ей казалось, подходил слишком близко, это ворчание становилось грозным. Инстинкт, опережающий у всех матерей-волчиц опыт, смутно подсказывал ей, что отцы могут съесть свое беспомощное потомство, хотя до сих пор она не знала такой беды. И страх заставлял ее гнать Одноглазого от порожденных им волчат.

Впрочем, волчатам ничто не грозило. Старый волк, в свою очередь, почувствовал веление инстинкта, перешедшего к нему от его отцов. Не задумываясь над ним, не противясь ему, он ощутил это веление всем своим существом и, повернувшись спиной к своему новорожденному потомству, отправился на поиски пищи.

В пяти-шести милях от логовища ручей разветвлялся, и оба его рукава под прямым углом поворачивали к горам. Волк пошел вдоль левого рукава и вскоре наткнулся на чьи-то следы. Обнюхав их и убедившись, что следы совсем свежие, он припал на снег и взглянул в том направлении, куда они вели. Потом не спеша повернулся и побежал вдоль правого рукава. Следы были гораздо крупнее его собственных, — и он знал, что там, куда они приведут, надежды на добычу мало.

Пробежав с полмили вдоль правого рукава, волк уловил своим чутким ухом какой-то скрежещущий звук. Подкравшись ближе, он увидел дикобраза, который, встав на задние лапы, точил зубы о дерево. Одноглазый осторожно подобрался к нему, не надеясь, впрочем, на удачу. Так далеко на севере дикобразы ему не попадались, но он знал этих зверьков, хотя за всю свою жизнь ни разу не; попробовал их мяса. Однако опыт научил волка, что бывает в жизни счастье или удача, и он продолжал подбираться к дикобразу. Трудно угадать, чем кончится эта встреча, ведь исхода борьбы с живым существом никогда нельзя знать заранее.

Дикобраз свернулся клубком, растопырив во все стороны спои длинные

острые иглы, и нападение стало теперь невозможным. В молодости Одноглазый ткнулся однажды мордой в такой же вот безжизненный с виду клубок игл и неожиданно получил удар хвостом но носу. Одна игла так и осталась торчать у него в носу, причиняя жгучую боль, и вышла из раны только через несколько недель. Он лег, приготовившись к прыжку и держа нос на расстоянии целого фута от хвоста дикобраза. Замерев на месте, он ждал. Кто знает? Все может быть. Вдруг дикобраз развернется. Вдруг представится случай ловким ударом лапы распороть нежное, ничем не защищенное брюхо.

Но через полчаса Одноглазый поднялся, злобно зарычал на неподвижный клубок и побежал дальше.

Слишком часто приходилось ему в прошлом караулить дикобразов — вот так же, без всякого толка, чтобы сейчас тратить на это время. И он побежал дальше г го правому рукаву ручья. День подходил к концу, а его поиски все еще не увенчались успехом.

Проснувшийся инстинкт отцовства управлял волком. Он знал, что пищу надо найти во что бы то ни стало. В полдень ему попалась белая куропатка. Он выбежал из зарослей кустарника и очутился нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на пне, в каком-нибудь футе от его морды. Они увидели друг друга одновременно. Птица испуганно взмахнула крыльями, но волк ударил ее лапой, сшиб на землю и схватил зубами как раз в тот миг, когда она заметалась по снегу, пытаясь взлететь на воздух. Как только зубы Одноглазого вонзились в нежное мясо, ломая хрупкие кости, челюсти его заработали. Потом он вдруг вспомнил что-то и пустился бежать к пещере, прихватив куропатку с собой.

Пробежав еще с милю своей бесшумной поступью, скользя, словно тень, и внимательно приглядываясь к каждому новому береговому изгибу, он опять наткнулся на следы все тех же больших лап. Следы удалялись в ту сторону, куда лежал и его путь, и он приготовился в любую минуту встретить обладателя этих лап.

Волк осторожно высунул голову из-за скалы в том месте, где ручей круто поворачивал, и его зоркий глаз заприметил нечто такое, что заставило его сейчас же прильнуть к земле. Это был тот самый зверь, который оставил большие следы на снегу, — крупная самка-рысь. Она лежала перед свернувшимся в тугой клубок дикобразом в той же позе, в какой рано утром лежал перед таким же дикобразом и сам волк. Если раньше Одноглазого можно было сравнить со скользящей тенью, то теперь это был призрак той тени, осторожно огибающий с подветренной стороны безмолвную, неподвижную мару — дикобраза и рысь.

Волк лег на снег, положив куропатку рядом с собой, и сквозь иглы низкорослой сосны стал пристально следить за игрой жизни, развертывающейся у него на глазах, — за рысью и дикобразом, которые хоть и притаились, но были полны сил и отстаивали каждый свое существование. Смысл же этой игры заключался в том, что один из ее участников хотел съесть другого, а тот не хотел быть съеденным.

Старый волк тоже принимал участие в этой игре из своего прикрытия, надеясь, а вдруг счастье окажется на его стороне и он добудет пищу, необходимую ему, чтобы жить.

Прошло полчаса, прошел час; все оставалось по-прежнему. Клубок игл сохранял полную неподвижность, и его легко можно было принять за камень; рысь превратилась в мраморное изваяние; а Одноглазый— тот был точно мертвый. Однако все трое жили такой напряженной жизнью, напряженной почти до ощущения физической боли, что вряд ли когда-нибудь им приходилось чувствовать в себе столько сил, сколько они чувствовали сейчас, когда тела их казались окаменелыми.

Одноглазый подался вперед, насторожившись еще больше. Там, за сосной, произошли какие-то перемены. Дикобраз в конце концов решил, что враг его удалился. Медленно, осторожно стал он расправлять свою непроницаемую броню. Его не тревожило ни малейшее подозрение. Колючий клубок медленно-медленно развернулся и начал выпрямляться. Одноглазый почувствовал, что рот у него наполняется слюной при виде живой дичи, лежавшей перед ним, как готовое угощение.

Еще не успев развернуться до конца, дикобраз увидел своего врага. И в это мгновение рысь ударила его.

Удар был быстрый, как молния. Лапа с крепкими когтями, согнутыми, как у хищной птицы, распорола нежное брюхо и тотчас же отдернулась назад. Если бы дикобраз развернулся во всю длину или заметил врага на какую-нибудь десятую долю секунды позже, лапа осталась бы невредимой, но в то мгновение, когда рысь отдернула лапу, дикобраз ударил ее сбоку хвостом и вонзил в нее свои острые иглы.

Все произошло одновременно—удар, ответный удар, предсмертный визг дикобраза и крик огромной кошки, ошеломленной болью. Одноглазый привстал, навострил уши и вытянул хвост, дрожащий от волнения. Рысь дала волю своему нраву. Она с яростью набросилась на зверя, причинившего ей такую боль. Но дикобраз, хрипя, взвизгивая и пытаясь свернуться в клубок, чтобы спрятать вывалившиеся из распоротого брюха внутренности, еще раз ударил хвостом. Большая кошка снова взвыла от боли и с фырканьем отпрянула назад; нос ее, весь утыканный иглами, стал

похож на подушку для булавок. Она царапала его лапами, стараясь избавиться от этих жгучих, как огонь, стрел, тыкалась мордой в снег, терлась о ветки и прыгала вперед, назад, направо, налево, не помня себя от безумной боли и страха.

Не переставая фыркать, рысь судорожно дергала своим коротким хвостом, потом мало-помалу затихла. Одноглазый продолжал следить за ней и вдруг вздрогнул и ощетинился: рысь с отчаянным воем взметнулась высоко в воздух и кинулась прочь, сопровождая каждый свой прыжок пронзительным визгом. И только тогда, когда она скрылась и визги ее замерли вдали, Одноглазый решился выйти вперед. Он ступал с такой осторожностью, как будто весь снег был усыпан иглами, готовыми каждую минуту вонзиться в мягкие подушки на его лапах. Дикобраз встретил появление волка яростным визгом и лязганьем зубов. Он ухитрился кое-как свернуться, но это уже не был прежний непроницаемый клубок: порванные мускулы не повиновались ему, он был разорван почти пополам и истекал кровью.

Одноглазый хватал пастью и с наслаждением глотал окровавленный снег. После такой закуски голод его только усилился; но он недаром пожил на свете,— жизнь научила его осторожности. Надо было выждать время. Он лег на снег перед дикобразом, а тот скрежетал зубами, хрипел и тихо повизгивал. Несколько минут спустя Одноглазый заметил, что иглы дикобраза мало-помалу опускаются и по всему его телу пробегает дрожь. Потом дрожь сразу прекратилась. Длинные зубы лязгнули в последний раз, иглы опустились, тело обмякло и больше уже не двигалось.

Робким, боязливым движением лапы Одноглазый растянул дикобраза во всю длину и перевернул его на спину. Все обошлось благополучно. Дикобраз был мертв. После внимательного осмотра волк осторожно взял свою добычу в зубы и побежал вдоль ручья, волоча ее по снегу и повернув голову в сторону, чтобы не наступать на колючие иглы. Но вдруг он вспомнил что-то, бросил дикобраза и вернулся к куропатке. Он не колебался ни минуты, он знал, что надо сделать: надо съесть куропатку. И, съев ее, Одноглазый побежал туда, где лежала его добыча.

Когда он втащил свою ношу в логовище, волчица осмотрела ее, подняла голову и лизнула волка в шею. Но сейчас же вслед за тем она чегонько зарычала, отгоняя его от волчат, — правда, на этот раз рычание было не такое уж злобное, в нем слышалось скорее извинение, чем угроза. Инстинктивный страх перед отцом ее потомства постепенно пропадал. Одноглазый вел себя, как и подобало волку-отцу, и не проявлял беззаконного желания сожрать малышей, произведенных ею на свет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК

Он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери-волчицы, а он пошел весь в Одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него было два глаза, а у отца — один.

Глаза у серого волчонка только недавно открылись, а он уже хорошо видел. И даже когда глаза у него были еще закрыты, чувства обоняния, осязания и вкуса уже служили ему. Он прекрасно знал своих двух братьев и двух сестер. Он поднимал с ними неуклюжую возню, подчас уже переходившую в драку, и его горлышко начинало дрожать от хриплых звуков, предвестников рычания. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу — источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал.

Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне; но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал, он ограничивался стенами логовища; волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной.

Впрочем, он очень скоро обнаружил, что одна из стен его мира отличается от других, — там был выход из пещеры, и оттуда шел свет. Он обнаружил, что эта стена не похожа на другие, еще задолго до того, как у него появились мысли и осознанные желания. Она непреодолимо влекла к себе волчонка еще в ту пору, когда он не мог видеть ее. Свет, идущий оттуда, бил ему в сомкнутые веки, и его зрительные нервы отвечали на эти теплые искорки, вызывавшие такое приятное и вместе с тем странное ощущение. Жизнь его тела, каждой клеточки его тела, жизнь, составляющая самую его сущность и действующая помимо его воли, рвалась к этому свету, влекла его к нему, так же как сложный химический состав растения заставляет его поворачиваться к солнцу.

Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело

подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него. И в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями; химический процесс, называющийся жизнью, требовал света; свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно.

Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка.

Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад; затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки — результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль.

Он был очень свирепым волчонком. И такими же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать. Ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, вырабатывалось из мяса; и теперь, когда ему исполнился месяц и глаза его уже целую неделю были открыты, он тоже начал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока.

С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер, припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь. И он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти. И уж конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры.

Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствования по пещере, стремясь к выходу из нее, и так же поминутно его оттаскивали назад. Правда, он не

знал, что это был выход. Он не подозревал о существовании разных входов и выходов, которые ведут из одного места в другое. Он вообще не имел понятия о существовании других мест, а о способах добраться туда и подавно. Поэтому выход из пещеры казался ему стеной — стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена — солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир — путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует.

У этой стены света было одно странное свойство. Его отец (а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира — похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу) — его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принял исчезновение отца за его отличительное свойство, так же как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери.

В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четки и определенны, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И поэтому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может проходить сквозь них, не может делать то, что делает отец. Но желания разобраться в разнице между отцом и собой никогда не возникало у него. Логика и физика не ггринимали участия в формировании его мозга.

Как и большинству обитателей Северной глуши, ему рано пришлось испытать чувство голода. Наступили дни, когда отец перестал приносить мясо, когда даже материнские соски не давали молока. Волчата повизгивали и скулили и большую часть времени проводили во сне; потом на них напало голодное оцепенение. Не было уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость, не пробовал рычать; и путешествия к далекой белой стене прекратились. Они спали, и жизнь, чуть теплившаяся в них, мало-

помалу гасла.

Одноглазый совсем потерял покой. Он рыскал повсюду и мало спал в логовище, которое стало теперь унылым и безрадостным. Волчица тоже оставила свой выводок и вышла на поиски корма. В первые дни после рождения волчат Одноглазый не раз наведывался к индейскому поселку и обкрадывал заячьи силки, но как только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли дальше, и этот источник пищи иссяк.

Когда серый волчонок немного окреп и снова стал интересоваться далекой белой стеной, он обнаружил, что население его мира сильно уменьшилось. У него осталась всего лишь одна сестра. Остальные исчезли. Как только силы вернулись к нему, он стал играть, но играть в одиночестве, потому что сестра не могла ни поднять головы, ни шевельнуться. Его маленькое тело округлилось от мяса, которое он ел теперь, а для нее пища ггрипгла слишком поздно. Она все время спала, и искра жизни в ее маленьком тельце, похожем на обтянутый кожей скелет, мерцала все слабее и слабее и наконец угасла.

Потом наступило время, когда Одноглазый перестал появляться сквозь стену и исчезать за ней; место, где он спал у входа в пещеру, опустело. Это случилось в конце второй, менее свирепой голодовки. Волчица знала, почему Одноглазый не вернулся в логовище, но не могла рассказать серому волчонку о том, что ей пришлось увидеть.

Отправившись за добычей вверх по левому рукаву ручья, туда, где жила рысь, она напала на вчерашний след Одноглазого. И там, где следы кончились, она нашла его самого — вернее, то, что от него осталось. Все кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. Волчица отыскала эту нору, но, судя по многим признакам, рысь была там, и волчица не решилась войти к ней.

После этого волчица перестала охотиться на левом рукаве ручья. Она знала, что у рыси в норе есть детеныши и что сама рысь славится своей злобой и неустрашимостью в драках. Трем-четырем волкам ничего не стоит загнать на дерево фыркающую, ощетинившуюся рысь; однако совсем иное дело встретиться с ней с глазу на глаз, особенно когда знаешь, что за спиной у нее голодный выводок.

Но Северная глушь есть Северная глушь, и материнство есть материнство,— оно не останавливается ни перед чем как в Северной глуши, так и вне ее; и неминуемо должен был настать день, когда ради своего серого детеныша волчица отважится пойти по левому рукаву к норе в скалах, навстречу разъяренной рыси.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СТЕНА МИРА

К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его, — и все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков, через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от Одноглазого и волчицы; но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх — наследие Северной глуши, и ни одному зверю не дано от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку!

Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. А в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться: он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желаниям. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод выработали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им — значило избегать боли и всяких жизненных осложнений.

Волчонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничил окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет, и, разграничив, старался избегать всего, причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь.

Вот почему, повинуясь закону, внушенному матерью, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвалось наружу.

Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно: звуки были непривычные, странные, а значит, неизвестные и страшные, — ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх.

Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, — и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснения в прожитой

жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием — желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал без звука, без движения, застыв, окаменев, — лежал, как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли.

Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, — и никакими преградами нельзя было остановить волну жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И наконец страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры.

В противоположность другим стенам, с которыми ему приходилось сталкиваться, эта стена, казалось, отступала все дальше и дальше, по мере того как он приближался к ней. Испытующе вытянув вперед свой маленький нежный нос, он ждал, что натолкнется на твердую поверхность, но стена оказалась такой же прозрачной и проницаемой, как свет. Волчонок вошел в то, что мнилось ему стеной, и погрузился в составляющее ее вещество.

Это сбивало его с толку: ведь он полз сквозь что-то твердое! А свет становился все ярче и ярче. Страх гнал волчонка назад, но крепнущая жизнь заставляла идти дальше. А вот и выход из пещеры. Стена, внутри которой, как ему мнилось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам, он ослеплял волчонка; внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к

увеличившемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой: в нее входили деревья, окаймляющие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще выше горы.

На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом; он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру.

Однако все обошлось благополучно. Волчонок продолжал смотреть и от любопытства даже позабыл, что надо рычать, забыл даже про свой испуг. Жизнь, крепнущая в нем, на время победила страх, и страх уступил место любопытству. Волчонок начал различать то, что было у него перед глазами: открытую часть ручья, сверкающего на солнце, засохшую сосну около откоса и самый откос, поднимающийся прямо к пещере, у входа в которую он примостился.

До сих пор серый волчонок жил на ровной поверхности, ему еще не приходилось испытывать ушибы от падений — да он и не знал, что такое падение, — поэтому он смело шагнул прямо в воздух. Задние ноги у него задержались на выступе у входа в пещеру, так что он упал головой вниз. Земля больно стукнула его по носу, он жалобно тявкнул и тут же вслед за этим покатился кубарем по откосу. На него напал панический страх. Неизвестное наконец овладело им, оно держало его в своей власти и готовилось причинить ему невыносимую боль. Жизнь, крепнущая в нем, снова уступила место страху, и он завизжал, как завизжал бы всякий перепуганный щенок.

Неизвестное грозило ему; он еще не мог понять — чем, и выл и визжал, не переставая. Это было куда хуже, чем лежать, замирая от страха, когда неизвестное только промелькнуло мимо него. Теперь оно завладело им целиком. Молчание ничему не поможет. Кроме того, теперь его терзал уже не страх, а ужас.

Но откос становился все более пологим, а у его подножия росла трава. Скорость падения уменьшилась. Остановившись наконец, волчонок отчаянно взвыл, потом заскулил протяжно и жалобно; а вслед за тем, как ни в чем не бывало, точно ему уже тысячу раз приходилось заниматься своим туалетом, принялся слизывать приставшую к бокам сухую глину.

Покончив с этим, он сел и осмотрелся по сторонам — так же, как это

сделал бы первый человек, попавший с Земли на Марс. Волчонок пробился сквозь стену мира, неизвестное выпустило его из своих объятий, и он остался невредимым. Но первый человек на Марсе встретил бы гораздо меньше необычного для себя, чем волчонок здесь на земле. Без всякого предварительного знания, без всякой подготовки он очутился в роли исследователя совершенно незнакомого ему мира.

Теперь, когда страшная неизвестность отпустила волчонка на свободу, он забыл обо всех ее ужасах. Он испытывал лишь любопытство ко всему, что его окружало. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас.

Он припал к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше; она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито зацокала оттуда.

Это придало волчонку храбрости, и хотя дятел, с которым ему пришлось вслед за тем встретиться, заставил его вздрогнуть, он уверенно продолжал свой путь. Уверенность эта возросла до такой степени, что, когда какая-то дерзкая птица подскочила к волчонку, он, играя, протянул к ней лапу. В ответ на это птица больно клюнула его в нос; он весь сжался и завизжал. Птица испугалась его визга и тут же упорхнула.

Волчонок учился. Его маленький, слабый мозг хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бываю! живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на месте, а живые двигаются, и никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку.

Волчонок шагал неуклюже, он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам; земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И наконец волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой.

Удача всегда сопутствует новичкам. Рожденный, чтобы стать

охотником (хотя сам он и не знал этого), волчонок напал на дичь сразу около пещеры, в первую же свою вылазку на свет божий. Искусно спрятанное гнездо куропатки попалось ему только вследствие его же собственной неловкости: он свалился на него. Он попробовал пройтись по стволу упавшей сосны; гнилая кора подалась под его ногами, и он с отчаянным визгом сорвался с круглого ствола, упал на куст и, пролетев сквозь листву и ветви, очутился прямо в гнезде, где сидели семь птенцов куропатки.

Птенцы запищали, и волчонок сначала испугался; потом, увидев, что они совсем маленькие, он осмелел. Птенцы двигались. Он примял одного лапой, и тот затрепыхался еще сильнее. Волчонку это очень понравилось. Он обнюхал птенца, взял его в рот. Птенец бился и щекотал ему язык. В ту же минуту волчонок почувствовал голод. Челюсти его сомкнулись, птичьи косточки хрустнули, и он почувствовал на языке теплую кровь. Кровь оказалась очень вкусной. В зубах у него была дичь, такая же дичь, какую ему приносила мать, только гораздо вкуснее, потому что она была живая. Волчонок съел птенца и остановился только тогда, когда покончил со всем выводком. Вслед за тем он облизнулся, точно так же, как это делала его мать, и стал выбираться из куста.

Его встретил крылатый вихрь. Стремительный натиск и яростные удары крыльев ослепили, ошеломили волчонка. Он уткнулся головой в лапы и завизжал. Удары посыпались с новой силой. Куропатка-мать была вне себя от ярости. Тогда волчонок разозлился. Он вскочил с рычанием и начал отбиваться лапами, потом запустил свои мелкие зубы в крыло птицы и принялся что есть силы дергать и таскать ее из стороны в сторону. Куропатка рвалась, ударяя его другим крылом. Это была первая схватка волчонка. Он ликовал. Он забыл весь свой страх перед неизвестным и уже ничего не боялся. Он рвал и бил живое существо, которое наносило ему удары. Кроме того, это живое существо было мясо. Волчонком овладела жажда крови. Он только что уничтожил семь маленьких живых существ. Сейчас он уничтожит большое живое существо. Он был слишком поглощен дракой и слишком счастлив, чтобы ощущать свое счастье. Он весь дрожал от возбуждения, которого до сих пор ему никогда не приходилось испытывать. Он не выпускал крыла и рычал сквозь стиснутые зубы. Куропатка вытащила его из куста. Когда же она попыталась втащить его туда обратно, он выволок ее на открытое место. Птица кричала и била его свободным крылом, а перья ее разлетались по воздуху, как снежные хлопья. Волчонок уже не помнил себя от ярости, воинственная кровь предков поднялась и забушевала в нем. Сам того не ощущая, волчонок жил

в эти минуты полной жизнью. Он выполнял предназначенную ему роль, делал то дело, для которого был рожден, — убивал добычу и дрался, прежде чем убить ее. Он оправдывал свое существование, выполняя высшее назначение жизни, потому что жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.

Наконец птица перестала бороться. Волчонок все еще держал ее за крыло. Они лежали на земле и смотрели друг на друга. Он попробовал яростно и угрожающе зарычать. Куропатка клюнула его в нос, и без того болевший. Волчонок вздрогнул, но не выпустил крыла. Птица клюнула его еще и еще раз. Он завизжал и попятился, не сообразив, что вместе с крылом потащит за собой и птицу. Град ударов посыпался на его многострадальный нос. Воинственный пыл волчонка погас. Выпустив добычу, он со всех ног пустился в бесславное бегство на другую сторону поляны и лег там возле кустарника, тяжело дыша, высунув язык и жалобно повизгивая. И вдруг предчувствие неминуемой беды сжало ему сердце. Неизвестное со всеми своими ужасами снова обрушилось на волчонка. Он инстинктивно отпрянул под защиту куста. На него пахнуло ветром, и большое крылатое тело в зловещем молчании пронеслось мимо: ястреб, ринувшийся на волчонка из поднебесья, промахнулся.

Пока волчонок лежал под кустом и, мало-помалу приходя в себя, начинал боязливо выглядывать оттуда, на другой стороне поляны из разоренного гнезда выпорхнула куропатка, — горе утраты заставило ее забыть о крылатой молнии небес. Но волчонок все видел, и это послужило ему предостережением и уроком. Он видел, как ястреб камнем упал вниз, пронесся над землей, почти задевая траву крыльями, вонзил когти в куропатку, пронзительно вскрикнувшую от смертельной боли и ужаса, и взмыл ввысь, унося ее с собой.

Волчонок долго не выходил из своего убежища. Он познал многое. Живые существа — это мясо, они приятны на вкус. Но большие живые существа причиняют боль. Надо есть маленьких — таких, как птенцы куропатки, а с большими, как сама куропатка, лучше не связываться. И все же его самолюбие было ущемлено. Ему вдруг захотелось еще раз схватиться с большой птицей, — жаль, что ястреб унес ее. А может быть, найдутся другие куропатки? Надо пойти поискать.

Волчонок спустился по отлогому берегу к ручью. Воды он до сих пор еще не видал. На первый взгляд она была вполне надежная, ровная. Он смело шагнул вперед и, визжа от страха, пошел ко дну, прямо в объятия неизвестного. Стало холодно, у него перехватило дыхание. Вместо

воздуха, которым он привык дышать, в легкие хлынула вода. Удушье сдавило ему горло, как смерть. Для волчонка оно было равносильно смерти. Он не знал, что такое смерть, но, как и все жители Северной глуши, боялся ее. Она была для него олицетворением самой страшной боли. В ней таилась самая сущность неизвестного, совокупность всех его ужасов. Это была последняя, непоправимая беда, которой он страшился, хоть и не мог представить ее себе до конца.

Волчонок выбрался на поверхность и всей пастью глотнул свежего воздуха. На этот раз он не пошел ко дну. Он ударил всеми четырьмя лапами, словно это было для него самым привычным делом, и поплыл. Ближний берег находился в каком-нибудь ярде от волчонка, но он вынырнул спиной к нему и, увидев дальний, сейчас же устремился туда. Ручей был узкий, но как раз в этом месте разливался широкой заводью.

На середине волчонка подхватило и понесло вниз по течению, прямо на маленькие пороги, начинавшиеся там, где русло снова сужалось. Плыть здесь было трудно. Спокойная вода вдруг забурлила. Волчонок то выбивался на поверхность, то уходил с головой под воду. Его кидало из стороны в сторону, переворачивало то на бок, то на спину, ударяло о камни. При каждом таком ударе он взвизгивал, и по этим визгам можно было сосчитать, сколько подводных камней попалось ему на пути.

Ниже порогов, где берега снова расширялись, волчонок попал в водоворот, который легонько отнес его к берегу и так же легонько положил на отмель. Он выкарабкался из воды и лег. Его знакомство с внешним миром продолжалось. Вода была неживая и все-таки двигалась!

Кроме того, на первый взгляд она казалась твердой, как земля, на самом же деле твердости в ней не было и в помине. И волчонок пришел к выводу, что вещи не всегда таковы, какими кажутся. Страх перед неизвестным, бывший не чем иным, как унаследованным от предков недоверием к окружающему миру, только усилился после столкновения с действительностью. Отныне в нем на всю жизнь укоренится это недоверие к внешнему виду вещей. И, прежде чем довериться им, он постарается узнать, каковы они на самом деле.

В этот день волчонку было суждено испытать еще одно приключение. Он вдруг вспомнил, что у него есть мать, и почувствовал, что она нужна ему больше всего на свете. От всех перенесенных испытаний у него устало не только тело — устал и мозг. За всю предыдущую жизнь мозгу его не приходилось так работать, как за один этот день. К тому же волчонку захотелось спать. И он отправился на поиски пещеры и матери, испытывая гнетущее чувство одиночества и полной беспомощности.

Пробираясь сквозь кустарник, волчонок вдруг услышал пронзительный свирепый крик. Перед глазами у него промелькнуло что-то желтое. Он увидел метнувшуюся в кусты ласку. Ласка была маленькая, и волчонок не испугался ее. Потом у самых своих ног он увидел живое существо, совсем крохотное,— это был детеныш ласки, который, так же как и волчонок, убежал из дому и отправился путешествовать. Крохотная ласка хотела было юркнуть в траву. Волчонок перевернул ее на спину. Ласка пискнула — голос у нее был скрипучий. В ту же минуту перед глазами у волчонка снова пронеслось желтое пятно. Он услышал свирепый крик, что-то сильно ударило его по голове, и острые зубы ласки-матери впились ему в шею.

Пока он с визгом и воем пятился назад, ласка подбежала к своему детенышу и скрылась с ним в кустах. Боль от укуса все еще не проходила, но боль от обиды давала себя чувствовать еще сильнее, и волчонок сел и тихо заскулил. Ведь ласка-мать была такая маленькая, а кусалась так больно! Волчонок еще не знал, что маленькая ласка — один из самых свирепых, мстительных и страшных хищников Северной глуши, но скоро ему предстояло узнать это.

Он еще не перестал скулить, когда ласка-мать снова появилась перед ним. Она не бросилась на него сразу, потому что теперь ее детеныш был в безопасности. Она приближалась осторожно, так что он мог рассмотреть ее тонкое, змеиное тельце и высоко поднятую змеиную головку. В ответ на резкий, угрожающий крик ласки шерсть на спине у волчонка поднялась дыбом, он зарычал. Она подходила все ближе и ближе. И вдруг прыжок, за которым он не мог уследить своим неопытным глазом, — тонкое желтое тело на одну секунду исчезло из его поля зрения, и ласка вцепилась ему в горло, глубоко прокусив шкуру.

Волчонок рычал, отбивался, но он был очень молод, это был его первый выход в мир, и поэтому рычание его перешло в визг, и он уже не дрался, а старался вырваться из зубов ласки и убежать. Но ласка не отпускала волчонка. Продолжая висеть у него на шее, она добиралась до вены, где пульсирует жизнь. Ласка любила кровь и предпочитала сосать ее прямо из горла — средоточия жизни.

Серого волчонка ждала верная гибель, и рассказ о нем остался бы ненаписанным, если бы из-за кустов не выскочила волчица. Ласка выпустила его и метнулась к горлу волчицы, но, промахнувшись, вцепилась ей в челюсть. Волчица взмахнула головой, как бичом, зубы ласки сорвались, и она взлетела высоко в воздух. Не дав тонкому желтому тельцу даже опуститься на землю, волчица подхватила его на лету, и ласка встретила свою смерть на ее острых зубах.

Новый прилив материнской нежности послужил наградой волчонку. Мать радовалась еще больше, чем сын. Она легонько подкидывала его носом, зализывала ему раны. А потом оба они поделили между собой кровопийцу-ласку, съели ее, вернулись в пещеру и легли спать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЗАКОН ДОБЫЧИ

Волчонок развивался с поразительной быстротой. Два дня он отдыхал, а затем снова отправился путешествовать. В этот свой выход он встретил молодую ласку, мать которой была съедена с его помощью, и позаботился, чтобы детеныш отправился вслед за матерью. Но теперь он уже не плутал и, устав, нашел дорогу к пещере и лег спать. После этого волчонок каждый день отправлялся на прогулку и с каждым разом заходил все дальше и дальше.

Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда — осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности.

При встречах с куропатками волчонок становился сущим дьяволом. Точно так же не упускал он случая ответить злобным рычанием на трескотню белки, которая попалась ему впервые около засохшей сосны. И один только вид птицы, напоминавшей ему ту, что клюнула его в нос, почти неизменно приводил его в бешенство.

Но бывало и так, что волчонок не обращал внимания даже на птиц, и это случалось тогда, когда ему грозило нападение других хищников, которые так же, как он, рыскали в поисках добычи. Волчонок не забыл ястреба и, завидев его тень, скользящую по траве, прятался подальше в кусты. Лапы его больше не разъезжались на ходу в разные стороны, — он уже перенял от матери ее легкую, бесшумную походку, быстрота которой была неприметна для глаза.

Что касается охоты, то удачи его кончились с первым же днем. Семь птенцов куропатки и маленькая ласка — вот и вся добыча волчонка. Но жажда убивать крепла в нем день ото дня, и он лелеял мечту добраться когда-нибудь до белки, которая своей трескотней извещала всех обитателей леса о его приближении. Но белка с такой же легкостью лазала по деревьям, с какой птицы летали по воздуху, и волчонку оставалось только одно: незаметно подкрадываться к ней, пока она была на земле.

Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше

того — она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие — плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Мать была олицетворением силы; и, подрастая, он ощутил эту силу и в более резких ударах ее лапы и в том, что толчки носом, которыми мать наказывала его прежде, заменились теперь свирепыми укусами. Это тоже внушало волчонку уважение к матери. Она требовала от него покорности, и чем больше он подрастал, тем суровее становилось ее обращение с ним.

Снова наступил голод, и теперь волчонок уже вполне сознательно испытывал его муки. Волчица совсем отощала в поисках пищи. Проводя почти все время на охоте и большей частью безуспешно, она редко приходила спать в пещеру. На этот раз голодовка была недолгая, но свирепая. Волчонок не мог высосать ни капли молока из материнских сосков, а мяса ему уже давно не перепадало.

Прежде он охотился ради забавы, ради того удовольствия, которое доставляет охота, теперь же принялся за это по-настоящему, и все-таки ему не везло. Но неудачи лишь способствовали развитию волчонка. Он с еще большей старательностью изучал повадки белки и прилагал еще больше усилий к тому, чтобы подкрасться к ней незамеченным. Он выслеживал полевых мышей и учился выкапывать их из норок, узнал много нового о дятлах и других птицах. И вот наступило время, когда волчонок уже не забирался в кусты при виде скользящей по земле тени ястреба. Он стал сильнее, опытнее, чувствовал в себе большую уверенность. Кроме того, голод ожесточил его. Теперь он садился посреди поляны на самом видном месте и ждал, когда ястреб спустится к нему. Там, над ним, в синеве неба летала пища — пища, которой так настойчиво требовал его желудок. Но ястреб отказывался принять бой, и волчонок забирался в чащу, жалобно скуля от разочарования и голода.

Голод кончился. Волчица принесла домой мясо. Мясо было необычное, совсем не похожее на то, которое она приносила раньше. Это был детеныш рыси, уже подросший, но не такой крупный, как волчонок. И все мясо целиком предназначалось волчонку. Мать уже успела утолить свой голод, хотя сын ее и не подозревал, что для этого ей понадобился весь выводок рыси. Не подозревал он и того, какой отчаянный поступок пришлось совершить матери. Волчонок знал только одно: молоденькая рысь с бархатистой шкуркой была мясом; и он ел это мясо, наслаждаясь каждым проглоченным куском.

Полный желудок располагает к покою, и волчонок прилег в пещере рядом с матерью и заснул. Его разбудил ее голос. Никогда еще волчонок не

слыхал такого страшного рычания. Возможно, за всю свою жизнь его мать никогда не рычала страшнее. Но для такого рычания повод был, и никто не знал этого лучше, чем сама волчица. Выводок рыси нельзя уничтожить безнаказанно.

В ярких лучах полуденного солнца волчонок увидел самку-рысь, припавшую к земле у входа в пещеру. Шерсть у него на спине поднялась дыбом. Ужас смотрел ему в глаза, — он понял это, не дожидаясь подсказки инстинкта. И если бы даже вид рыси был недостаточно грозен, то ярость, которая послышалась в ее хриплом визге, внезапно сменившем рычание, говорила сама за себя.

Жизнь, крепнущая в волчонке, словно подтолкнула его вперед. Он зарычал и храбро занял место рядом с матерью. Но его позорно оттолкнули назад. Низкий вход не позволял рыси сделать прыжок, она скользнула в пещеру, но волчица ринулась ей навстречу и прижала ее к земле. Мало что удалось волчонку разобрать в этой схватке. Он слышал только рев, фырканье и пронзительный визг. Оба зверя катались по земле; рысь рвала свою противницу зубами и когтями, а волчица могла пускать в ход только зубы.

Волчонок подскочил к рыси и с яростным рычанием вцепился ей в заднюю ногу. Тяжестью своего тела он, сам того не подозревая, мешал ее движениям и помогал матери. Борьба приняла новый оборот: сражающиеся подмяли под себя волчонка, и ему пришлось разжать зубы. Но вот обе матери отскочили друг от друга, и рысь, прежде чем снова сцепиться с волчицей, ударила волчонка своей могучей лапой, разорвала ему плечо до самой кости и отбросила его к стене. Теперь к реву сражающихся прибавился жалобный плач. Но схватка так затянулась, что у волчонка было достаточно времени, чтобы наплакаться вдоволь и испытать новый прилив мужества. И к концу схватки он снова вцепился в заднюю ногу рыси, яростно рыча сквозь сжатые челюсти.

Рысь была мертва. Но и волчица ослабела от полученных ран. Она принялась было ласкать волчонка и лизать ему плечо, но потеря крови лишила ее сил, и весь этот день и всю ночь она пролежала около своего мертвого врага, не двигаясь и еле дыша. Следующую неделю, выходя из пещеры только для того, чтобы напиться, волчица еле передвигала ноги, так как каждое движение причиняло ей боль. А потом, когда рысь была съедена, раны волчицы уже настолько зажили, что она могла снова начать охоту.

Плечо у волчонка все еще болело, и он еще долго ходил прихрамывая. Но за это время его отношение к миру изменилось. Он держался теперь с

большей уверенностью, с чувством гордости, незнакомой ему до схватки с рысью. Он убедился, что жизнь сурова; он участвовал в битве; он вонзил зубы в тело врага и остался жив. И это придало ему смелости, в нем появился даже задор, чего раньше не было. Он перестал робеть и уже не боялся мелких зверьков, но неизвестное с его тайнами и ужасами по-прежнему властвовало над ним и не переставало угнетать его.

Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. В жизни есть две породы: его собственная и чужая. К первой принадлежит он с матерью, ко второй — все остальные существа, обладающие способностью двигаться. Но и они, в свою очередь, не едины. Среди них существуют не хищники и мелкие хищники — те, кого убивают и едят его сородичи; и существуют враги, которые убивают и едят его сородичей или сами попадаются им. Из этого разграничения складывался закон. Цель жизни — добыча. Сущность жизни — добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: ешь, или съедят тебя самого. Волчонок не мог ясно и четко сформулировать этот закон и не пытался сделать из него вывод. Он даже не думал о нем, а просто жил согласно его велениям.

Действие этого закона волчонок видел повсюду. Он съел птенцов куропатки. Ястреб съел их мать и хотел съесть самого волчонка. Позднее, когда волчонок подрос, ему захотелось съесть ястреба. Он съел маленькую рысь. Мать-рысь съела бы волчонка, если бы сама не была убита и съедена. Так оно и шло. Все живое вокруг Волчонка жило согласно этому закону, крохотной частицей которого являлся и он сам. Он был хищником. Он питался только мясом, живым мясом, которое убегало от него, взлетало на воздух, карабкалось по деревьям, пряталось под землю или вступало с ним в бой, а иногда и обращало его в бегство.

Если бы волчонок умел мыслить, как человек, он, возможно, пришел бы к выводу, что жизнь — это неутомимая жажда насыщения, а мир — арена, где сталкиваются все те, кто, стремясь к насыщению, преследует друг друга, охотится друг за другом, поедает друг друга; арена, где льется кровь, где царит жестокость, слепая случайность и хаос без начала и конца.

Но волчонок не умел мыслить, как человек, и не обладал способностью к обобщениям. Поставив себе какую-нибудь одну цель, он только о ней и думал, только ее одной и добивался. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучим, и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его

телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярость и битвы приносили с собой одно удовольствие. И даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить.

Кроме этого, в жизни было много других приятных ощущений. Полный желудок, ленивая дремота на солнышке— все это служило волчонку наградой за его рвение и труды, а рвение и труды сами по себе доставляли ему радость. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Часть третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТВОРЦЫ ОГНЯ

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Все произошло по его вине. Осторожность — вот что было забыто. Он вышел из пещеры и побежал к ручью напиться. Причиной его оплошности, возможно, было еще и то, что ему хотелось спать. (Вся ночь прошла на охоте, и волчонок только что проснулся.) Но ведь дорога к ручью была ему так хорошо знакома! Он столько раз бегал по ней, и до сих пор все сходило благополучно.

Волчонок спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках пять живых существ, — таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание.

Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство: волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих ггор.

Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей Северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз — на него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте около бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали, из-за густых зарослей, к странному двуногому существу, которое слало властителем над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену у своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра.

Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело наконец плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом:

— Вабам вабиска им пит та! (Смотрите! Какие белые клыки!)

Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали два инстинкта: один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов: покорялся до тех нор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил второй удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего.

Индейцы рассмеялись, и даже тот, с укушенной рукой, присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса.

И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос и, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери — своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием: она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь.

Волчица бросилась к людям. Разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка ее спасительный гнев только обрадовал.

Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались.

И вдруг один из индейцев крикнул:

— Кичи!

В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса.

— Кичи! — снова крикнул индеец, на этот раз резко и повелительно.

И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям.

Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, да и не собиралась это делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться, но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом.

— Что же тут удивительного? — заговорил один из индейцев. — Отец у нее был волк, а мать собака. Ведь браг мой привязывал ее весной на три ночи в лесу! Значит, отец Кичи был Волк.

— С тех пор как Кичи убежала, Серый Бобр, прошел целый год, — сказал другой индеец.

— И тут нет ничего удивительного, Язык Лосося, — ответил Серый Бобр. — Тогда был голод, и собакам не хватало мяса.

— Она жила среди волков, — сказал третий индеец.

— Ты прав, Три Орла, — усмехнулся Серый Бобр, дотронувшись до волчонка, — и вот доказательство твоей правоты.

Почувствовав прикосновение человеческой руки, волчонок глухо зарычал, и рука отдернулась назад, готовясь ударить его. Тогда он спрятал клыки и покорно приник к земле, а рука снова опустилась и стала почесывать у него за ухом и гладить его по спине.

— Вот доказательство твоей правоты, — повторил Серый Бобр. — Кичи — его мать. Но отец у него был волк. Поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал. Это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?

Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом Серый Бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту, и вырезал палку. Белый Клык наблюдал за ним. Серый Бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву.

Белый Клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык Лосося

протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый Клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными крючковатыми пальцами стала почесывать ему живо! и перекатывать с боку на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, Белый Клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все четыре ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и Белый Клык ограничился тихим рычанием. Рычания он не смог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И, как это ни странно, Белый Клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда наконец человек погладил его в последний раз и отошел, Белый Клык окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытан, страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты.

Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. На тропинку вереницей вышло все индейское племя, перекочевывавшее на новое место. Их было человек сорок — мужчин, женщин, детей, сгибавшихся под тяжестью лагерного скарба. С ними шло много собак; и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов в двадцать, — тридцать весом.

Белый Клык никогда еще не видал собак, но сразу почувствовал, что они мало чем отличаются от его собственной породы. Учуяв волчонка и его мать, собаки сейчас же доказали, как незначительна эта разница. Началась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружившие его со всех сторон разверстые собачьи пасти; собаки попалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание Кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары.

Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от

свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы. И хотя волчонок не мог ясно представить себе такого отвлеченного понятия, как справедливое возмездие, тем не менее он по-своему почувствовал справедливость человека и признал в нем существо, которое устанавливает закон и следит за его выполнением. Оценил он также способ, которым люди заставляю! подчиняться своим законам. Они не кусались и не пускали в ход когтей, как все прочие звери, а использовали силы неживых предметов. Неживые предметы подчинялись их воле: камни и палки, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары.

Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью, она выходила за пределы всего мыслимого. Белый Клык по самой природе своей не мог даже подозревать о существовании богов, в лучшем случае он чувствовал, что есть вещи непостижимые. Но благоговение и трепет, которые ему внушали люди, были сродни тому благоговению и трепету, которые ощутил бы человек при виде божества, мечущего с горной вершины молнии на землю.

Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из Одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком.

Но вдруг, совершенно внезапно, обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих собратьев, которые, едва завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это и было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движения волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери.

Волчонку это не нравилось, и когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, к которой была привязана Кичи, и повело ее за собой, как пленницу, а за Кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим.

Они отправились вниз по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда

заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты, лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минутой. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами, их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов; тут, собственно, не было ничего примечательного, — это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся.

Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Они занимали почти все поле зрения. Он боялся их. Вигвамы зловеще маячили в вышине, и когда ветер пробегал по стоянке, вздувая на них парусину и кожу, Белый Клык в страхе припадал к земле, не сводя глаз с этих громад и готовясь отскочить в сторону, как только они начнут валиться на него.

Но скоро Белый Клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня Белый Клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность — потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, Белый Клык полз мучительно долго и осторожно. События этого дня уже подготовили его к тому, что неизвестное имеет склонность проявлять себя самым неожиданным, самым невероятным образом. Наконец его нос коснулся парусины. Белый Клык ждал, что будет. Ничего… все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз. Стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. Тогда в вигваме послышался резкий окрик индианки, и Белый Клык опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов.

Не прошло и пяти минут, как Белый Клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок

гораздо старше и круггнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее Белый Клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев.

Белый Клык признал в щенке существо своей породы, к тому же на вид совсем неопасное, и, не ожидая от него никаких враждебных действий, приготовился оказать ему дружеский прием. Но как только незнакомец оскалил зубы и весь подобрался, Белый Клык тоже подобрался и тоже оскалил зубы. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовьте ко всему. Это продолжалось довольно долго, и Белому Клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Укус пришелся как раз в то плечо, которое все еще болело у Белого Клыка после схватки с рысью, болело глубоко, около самой кости. Белый Клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами.

Но Лип-Лип недаром родился в индейском поселке и недаром участвовал в стольких драках со щенками. Новичку пришлось плохо от его мелких острых зубов, и он с визгом постыдно бежал пол, защиту матери. Это была первая схватка Белого Клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям.

Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство Белого Клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серьги Бобр делал что-то с сухим мохом и палками, разложенными возле него на земле. Белый Клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Серый Бобр издал какие-то звуки, в которых, как показалось Белому Клыку, не было ничего враждебного, и он подошел еще ближе.

Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовилось что-то интересное. Любопытство Белого Клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мохом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый Клык не подозревал о существовании огня. Но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал

над собой смех Серого Бобра и понял, что и в этих звуках нет ничего враждебного. Потом Белый Клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык.

В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и моха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый Клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А Белый Клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружающих его людей.

Это была самая сильная боль, какую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками Серого Бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый Клык скулил, скулил не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение; обоженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей.

А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Нам не дано знать, каким образом некоторые животные понимают, что такое смех, и догадываются, что мы смеемся над ними. Вот это и произошло с Белым Клыком, и ему стало стыдно, когда люди подняли его на смех. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый Клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним.

Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а Белый Клык не отходил от Кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Его охватила тоска. Он ощущал какую-то пустоту в себе, он томился по тишине и миру, царившим у ручья и в родной пещере. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ — мужчин, женщин, детей, — все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг Белого Клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий.

Белый Клык наблюдал за людьми, которые ходили между вигвамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому как человек взирает на им же

сотворенных богов, Белый Клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами. Он видел во всех их деяниях ту же чудотворную силу, которой человек наделяет бога. Они обладали непостижимым, безграничным могуществом. Они были властелинами живого и неживого мира; они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам; из сухого моха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь! Они были боги!

ГЛАВА ВТОРАЯ

НЕВОЛЯ

Каждый новый день приносил Белому Клыку — что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. Человек испытывает душевную боль, когда его богов ниспровергают и когда алтари, воздвигнутые его руками, рушатся, но волку и дикой собаке такая боль неведома. В противоположность человеку, боги которого — это легкая дымка мечты, никогда не обретающая реальности, это призраки, наделенные добротой и силой, это взлеты его я в царсгво духа, — в противоположность человеку волк и дикая собака, пригревшиеся у разведенного человеком костра, видят, что их боги облечены в плоть и кровь, что они осязаемы, занимают определенное место в пространстве и добиваются своих целей, оправдывают свое назначение в жизни, подчиняясь закону времени. Вера в таких богов дается легко, ее ничто не может поколебать. От такого бога никуда не уйдешь. Вот он стоит во весь рост, с палкой в руке — всесильный, гневный и добрый. В нем тайна и могущество, облеченные плотью, которая истекает кровью, когда ее рвут, и которая на вкус ничем не хуже любого другого мяса.

Так было и с Белым Клыком. Человеческие существа казались ему богами, несомненными и вездесущими богами. И он покорился им, так же как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его — он подходил, когда прогоняли прочь — поспешно убегал, когда грозили—припадал к земле, потому что за каждым их желанием была сила, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича.

Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Его поступки зависели от их велений. Его тело они вольны были искалечить, растоптать или пощадить. Этот урок Белый Клык запомнил быстро, но дался он ему не легко, — слишком многое в его натуре восставало против того, с чем ему приходилось сталкиваться на каждом шагу. И вместе с тем незаметно для самого себя Белый Клык начинал постигать прелесть новой жизни, хотя привыкать к ней было и трудно и неприятно. Он отдал свою

судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Но все это случилось не сразу — за один день нельзя отдаться человеку и душой и телом. Белый Клык не мог отречься от наследия предков, не мог забыть Северную глушь. Бывали дни, когда он выходил на опушку леса и стоял там, прислушиваясь к зовам, влекущим его вдаль. И с таких прогулок он возвращался беспокойный, встревоженный, жалобно и тихо повизгивая, ложился рядом с Кичи и лизал ей морду своим быстрым, пытливым язычком.

Белый Клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться, — чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее.

Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Стоило Белому Клыку отойти от матери, и забияка был тут как тут, ходил за ним по пятам, рычал, привязывался к нему и, если людей поблизости не было, лез в драку. Эти стычки доставляли Лип-Липу громадное: удовольствие, потому что он всегда выходил из них победителем. Но то, что было для Лип-Липа самым большим наслаждением в жизни, приносило Белому Клыку лишь одни страдания.

Однако запугать Белого Клыка было не так легко. Он терпел поражение за поражением, но не смирялся. И все-таки эта вечная вражда начинала сказываться на нем. Он стал злобным и угрюмым. Свирепость была свойственна ему как волку, а бесконечные преследования еще больше ожесточали его. То добродушное, веселое, юное, что было в нем, не находило себе выхода. Он никогда не играл и не возился со своими сверстниками: Лип-Лип не допускал этого. Стоило Белому Клыку появиться среди щенят, как Лип-Лип подлетал к нему, затевал ссору и в конце концов прогонял его прочь.

Вскоре почти все щенячье, что было в Белом Клыке, исчезло, и он стал казаться гораздо старше своего возраста. Лишенный возможности давать выход своей энергии в игре, он ушел в себя и стал развиваться умственно. В нем появилась хитрость, а времени, чтобы обдумать свои проделки, у него было достаточно. Так как ему мешали получать свою долю мяса и

рыбы во время общей кормежки собак, он сделался ловким вором. Приходилось самому заботиться о себе, и Белый Клык ухитрялся промышлять еду так искусно, что стал настоящим бичом для индианок. Он шнырял по всему поселку, знал, где что происходит, все видел и слышал, применялся к обстоятельствам и всячески избегал встреч со своим заклятым врагом.

Еще в первые дни своей жизни в поселке Белый Клык сыграл злую шутку с Лип-Липом и вкусил сладость мести. Он заманил его прямо в пасть свирепой Кичи примерно тем же способом, каким она когда-то заманивала собак и уводила их от людской стоянки на съедение волкам. Спасаясь от Лип-Липа, Белый Клык побежал не напрямик, а стал кружить между вигвамами. Бегал он хорошо, быстрее любого щенка его возраста и быстрее самого Лип-Липа. Но на этот раз он не особенно торопился и подпустил своего преследователя на расстояние всего только одного прыжка от себя.

Возбужденный погоней и близостью жертвы, Лип-Лип оставил всякую осторожность и забыл, где находится. Когда он вспомнил об этом, было уже поздно. На всем бету обогнув виг вам, он с размаху налетел прямо на Кичи, лежавшую на привязи. Лип-Лип взвыл от ужаса. Хоть Кичи и была привязана, но отделаться от нее оказалось не так-то легко. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и впилась в него зубами.

Откатившись наконец от волчицы в сторону, Лип-Лип с трудом поднялся, весь взлохмаченный, побитый и телесно и морально. Шерсть на нем торчала клочьями в тех местах, где по ней прошлись зубы Кичи. Он раскрыл пасть и разразился протяжным, душераздирающим щенячьим воем. Но Белый Клык не дал ему даже повыть как следует. Он кинулся на своего врага и рванул его за заднюю ногу. Куда девалась былая воинственность щенка! Лип-Лип пустился наутек, а его жертва гналась за ним по пятам и не отстала до тех пор, пока ее мучитель не добежал до своего вигвама. Тут на выручку Лип-Липу подоспели индианки, и Белый Клык, превратившийся в разъяренного дьявола, отступил только под градом сыпавшихся на него камней.

Настал день, когда Серый Бобр отвязал Кичи, решив, что теперь она уже не убежит. Белый Клык ликовал, видя мать на свободе. Он с радостью отправился бродить с ней по всему поселку и, пока Кичи была близко, Лип-Лип держался от Белело Клыка на почтительном расстоянии. Белый Клык даже ощетинивался и подходил к нему с воинственным видом, но Лип-Лип не принимал вызова. Он был неглуп и решил подождать с отмщением до тех пор, пока не встретится с Белым Клыком один на один.

В тот же день Кичи и Белый Клык вышли на опушку леса неподалеку от поселка. Белый Клык постепенно, шаг за шагом, уводил туда мать, и, когда она остановилась на опушке, он попробовал завлечь ее дальше. Ручей, логовище и спокойный лес манили к себе Белого Клыка, и ему хотелось, чтобы мать ушла вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и посмотрел на нее. Она стояла не двигаясь. Белый Клык жалобно заскулил и, играя, стал бегать среди кустов, потом вернулся, лизнул мать в морду и снова отбежал. Но она продолжала стоять на месте. Белый Клык смотрел на нее, и казалось, что настойчивость и нетерпение вселились вдруг в волчонка и затем медленно покинули его, когда Кичи повернула голову и посмотрела на поселок.

Даль звала Белого Клыка. И мать слышала этот зов. Но еще яснее она слышала зов огня и человека, зов, на который из всех зверей откликается только волк — волк и дикая собака, ибо они братья.

Кичи повернулась и медленно, рысцой побежала обратно. Поселок держал ее в своей власти крепче всякой привязи. Невидимыми, таинственными путями боги завладели волчицей и не отпускали ее от себя. Белый Клык сел в тени березы и тихо заскулил. Пахло сосной, нежные лесные ароматы наполняли воздух, напоминая Белому Клыку о прежней вольной жизни, на смену которой пришла неволя. Но Белый Клык был всего-навсего щенком, и зов матери доносился до него яснее, чем зов Северной глуши или человека. Он привык полагаться на нее во всем. Независимость была еще впереди. Белый Клык встал и грустно поплелся в поселок, но по дороге раза два остановился и поскулил, прислушиваясь к зову, который все еще летел из лесной чащи.

В Северной глуши мать и детеныш недолго живут друг подле друга, но люди часто сокращают и этот короткий срок. Так было и с Белым Клыком. Серый Бобр задолжал другому индейцу, которого звали Три Орла. А Три Орла уходил вверх по реке Маккензи на Большое Невольничье озеро. Кусок красной материи, медвежья шкура, двадцать патронов и Кичи пошли в уплату долга. Белый Клык увидел, как Три Орла взял его мать к себе в пирогу, и хотел последовать за ней. Ударом кулака Три Орла отбросил его обратно на берег. Пирога отчалила. Белый Клык прыгнул в воду и поплыл за ней, не обращая внимания на крики Серого Бобра. Белый Клык не внял даже голосу человека — так боялся он разлуки с матерью.

Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и разгневанный Серый Бобр, спустив на воду пирогу, поплыл вдогонку за Белым Клыком. Настигнув беглеца, он вытащил его за загривок из воды и, держа в левой руке, задал ему хорошую трепку. Белому Клыку попало как следует. Рука у

индейца была тяжелая, удары были рассчитаны точно и сыпались один за другим.

Под градом этих ударов Белый Клык болтался из стороны в сторону, как испортившийся маятник. Самые разнообразные чувства волновали его. Сначала он удипился, потом на него напал страх, и он начал взвизгивать от каждого удара. Но страх вскоре сменился злобой. Свободолюбивая натура заявила о себе — Белый Клык оскалил зубы и бесстрашно зарычал прямо в лицо разгневанному божеству. Божество разгневалось еще больше. Удары посыпались чаще, стали тяжелее и больнее.

Серый Бобр не переставал бить Белого Клыка, Белый Клык не переставал рычать. Но это не могло продолжаться вечно, кто-то должен был уступить, и уступил Белый Клык. Страх снова овладел им. В первый раз в жизни человек бил его по-настоящему. Случайные удары палкой или камнем казались лаской по сравнению с тем, что ему пришлось испытать сейчас. Белый Клык сдался и начал визжать и выть. Сначала он взвизгивал от каждого удара, но скоро страх его перешел в ужас, и визги сменились непрерывным воем, не совпадающим с ритмом побоев. Наконец, Серый Бобр опустил правую руку. Белый Клык продолжал выть, повиснув в воздухе, как тряпка. Хозяин, по-видимому, остался доволен этим и швырнул его на дно пироги. Тем временем пирогу отнесло вниз по течению. Серый Бобр взялся за весло. Белый Клык мешал ему грести. Серый Бобр злобно толкнул его ногой. В этот миг свободолюбие снова дало себя знать в Белом Клыке, и он впился зубами в ногу, обутую в мокасин.

Предыдущая трепка была ничто в сравнении с той, которую ему пришлось вынести. Гнев Серого Бобра был страшен, и Белого Клыка обуял ужас. На этот раз Серый Бобр пустил в ход тяжелое весло, и, когда Белый Клык очутился на дне пироги, на всем его маленьком теле не было ни одного живого места. Серый Бобр еще раз ударил его ногой. Белый Клык не бросился на эту ногу. Неволя преподала ему еще один урок: никогда, ни ггри каких обстоятельствах, нельзя кусать бога — твоего хозяина и повелителя; тело бога священно, и зубы таких, как Белый Клык, не смеют осквернять его. Это считалось, очевидно, самой страшной обидой, самым страшным проступком, за который не было ни пощады, ни снисхождения.

Пирога причалила к берегу, но Белый Клык не шевельнулся и продолжал лежать, повизгивая и дожидаясь, когда Серый Бобр изъявит свою волю. Серый Бобр пожелал, чтобы Белый Клык вышел из пироги, и швырнул его на берег так, что тот со всего размаху ударился боком о землю. Дрожа всем телом, Белый Клык встал и заскулил. Лип-Лип,

который наблюдал за происходящим с берега, кинулся, сшиб его с ног и впился в него зубами. Белый Клык был слишком беспомощен и не мог защищаться, и ему бы несдобровать, если бы Серый Бобр не ударил Лип-Липа ногой так, что тот взлетел высоко в воздух и шлепнулся на землю далеко от Белого Клыка.

Такова была человеческая справедливость, и Белый Клык, несмотря на боль и страх, не мог не почувствован, признательность к человеку. Он послушно поплелся за Серым Бобром через весь поселок к его вигваму. И с того дня Белый Клык запомнил, что право наказывать боги оставляют за собой, а животных, подвластных им, этого права лишают.

В ту же ночь, когда в поселке все стихло, Белый Клык вспомнил мать и загрустил. Но грустил он так громко, что разбудил Серого Бобра, и тот побил его. После этого в присутствии богов он тосковал молча и давал волю своему горю тогда, когда выходил один на опушку леса.

В эти дни Белый Клык мог бы внять голосу прошлого, который звал его обратно к пещере и ручью, но память о матери удерживала его на месте. Может быть, она вернется в поселок, как возвращаются люди после охоты. И Белый Клык оставался в неволе, поджидая Кичи.

Подневольная жизнь не так уж тяготила Белого Клыка. Многое в ней его интересовало. События в поселке следовали одно за другим. Странным поступкам, которые совершали боги, не было конца, а Белый Клык всегда отличался любопытством. Кроме того, он научился ладить с Серым Бобром. Послушание, строгое, неукоснительное послушание требовалось от Белого Клыка, и, усвоив это, он не вызывал гнева у людей и избегал побоев.

А иногда случалось даже, что Серый Бобр сам швырял Белому Клыку кусок мяса и, пока тот ел, не подпускал к нему других собак. И такому куску не было цены. Он один был почему-то дороже, чем десяток кусков, полученных из рук женщин. Серый Бобр ни разу не погладил и не приласкал Белого Клыка. И, может быть, его тяжелый кулак, может быть, его справедливость и могущество или все это вместе влияло на Белого Клыка, но в нем начинала зарождаться привязанность к угрюмому хозяину.

Какие-то предательские силы незаметно опутывали Белого Клыка узами неволи, и действовали они так же безошибочно, как палка или удар кулаком. Инстинкт, который издавна гонит волков к костру человека, развивается быстро. Развивался он и в Белом Клыке. И хотя его теперешняя жизнь была полна горестей, поселок становился ему все дороже и дороже. Но сам он не подозревал этого. Он чувствовал только тоску по Кичи, надеялся на ее возвращение и жадно тянулся к прежней

свободной жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОТЩЕПЕНЕЦ

Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому Клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Каждый раз, когда в поселке слышался лай, собачья грызня или женщины поднимали крик из-за украденного куска мяса, никто не сомневался, что виновником всего этого был Белый Клык. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, и следствия эти были дурные. Белый Клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк; разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту готов был увернуться от удара палкой или камнем.

Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Между ними и Белым Клыком было какое-то различие. Может быть, собаки чуяли в нем другую породу и питали к нему инстинктивную вражду, которая всегда возникает между домашней собакой и волком. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу. И, объявив Белому Клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и, надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Многих собак он мог бы одолеть один на один, но такой возможности не представлялось.

Начало каждой драки служило сигналом для всех молодых собак, они сбегались со всего поселка и набрасывались на Белого Клыка.

Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам: отбиваться сразу от всей стаи и, имея дело с одним противником, наносить ему возможно большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов — значило сохранить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его, — Белый Клык подавался назад, подскакивал, ускользал в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле.

Перед каждой дракой собаки обычно соблюдают некий ритуал: рычат,

прохаживаются друг перед другом, шерсть у них встает дыбом. Белый Клык обходился без этого. Всякая задержка грозила появлением всей собачьей стаи. Дело надо делать быстро, а затем удирать. И Белый Клык не показывал своих намерений. Он кидался в драку без всякою предупреждения и начинал кусать и рвать своего противника, не дожидаясь, пока тот приготовится. Таким образом, он научился наносить собакам тяжелые раны. Кроме того. Белый Клык понял, что важно застать врага врасплох, надо напасть неожиданно, распороть ему плечо, изорвать в клочья ухо, прежде чем он опомнится, — и тогда дело наполовину сделано.

Он убедился, что собаку, застигнутую врасплох, ничего не стоит сбить с ног, а тогда самое уязвимое место у нее на шее будет незащищенным. Белый Клык знал, где находится это место. Знание это досталось ему по наследству от многих поколений волков. И, нападая, он придерживался такой тактики: во-первых, подстерегал собаку, когда она была одна; во-вторых, налетал на нее неожиданно и сбивал с ног; и, в-третьих, вцеплялся ей в горло.

Белый Клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов, но все же не один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух. В тот вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины, припомнили Белому Клыку все его кражи, и около жилища Серого Бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам.

Белого Клыка возненавидели и люди и собаки. Он не знал ни минуты покоя. Каждая собака скалила на нет о зубы, каждый человек на него замахивался. Сородичи встречали его рычанием, боги — проклятиями и камнями. Он держался все время начеку, каждую минуту был готов напасть, отразить нападение или увернуться от удара. Он действовал стремительно и хладнокровно: сверкнув клыками, кидался на противника или с грозным рычанием отскакивал назад.

Что до рычания, то рычать он умел пострашнее собак — и старых и молодых. Цель рычания — предостеречь или испугать врага; и надо хорошо разбираться в том, когда и при каких обстоятельствах следует пускать в ход такое средство. И Белый Клык знал это. В свое рычание он вкладывал всю ярость и злобу, все, чем только мог устрашить врага. Вздрагивающие ноздри, вставшая дыбом шерсть, язык, красной змейкой извивающийся между зубами, прижатые уши, горящие ненавистью глаза,

подергивающиеся губы, оскаленные клыки заставляли призадуматься многих собак. Когда Белого Клыка застигали врасплох, ему было достаточно секунды, чтобы обдумать гглан действий. Но часто пауза эта затягивалась, противник отказывался от драки, и рычание Белого Клыка сплошь и рядом давало ему возможность отступить с почетом даже при стычках со взрослыми собаками.

Изгнав Белого Клыка из стаи, объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Отправляясь в одиночестве к реке, щенок или шел на верную смерть, или оглашал весь поселок пронзительным визгом, улепетывая от выскочившего из засады волчонка.

Но Белый Клык продолжал мстить собакам даже после того, как они запомнили раз и навсегда, что им надо держаться всем вместе. Он нападал на собак, заставая их поодиночке; они нападали на него всей сворой. Стоило собакам завидеть Белого Клыка, как они дружно кидались за ним в погоню, и в таких случаях его спасали только быстрые ноги. Но горе тому псу, который, увлекшись, обгонял своих товарищей! Белый Клык на всем ходу поворачивался к преследователю, несущемуся впереди стаи, и бросался на него. Это случалось часто, потому что возбужденные погоней собаки забывали обо всем на свете, а Белый Клык всегда сохранял хладнокровие. То и дело оглядываясь назад, он готов был в любую минуту сделать на всем бегу крутой поворот и кинуться на слишком рьяного преследователя, отделившегося от своих товарищей.

В молодых собаках живет непреодолимая потребность играть, и враги Белого Клыка удовлетворяли эту потребность, превращая войну с ним в увлекательную забаву. Охота за волчонком стала для них самым любимым развлечением — правда, развлечением не шуточным и подчас смертельно опасным. А Белый Клык, с которым никто из собак не мог сравниться быстротой ног, в свою очередь, не останавливался перед риском. В те дни, когда надежда на возвращение Кичи еще не покидала Белого Клыка, он часто заманивал собачью стаю в соседний лес. Но собакам не удавалось догнать его там. По тявканью и вою Белый Клык определял, где они находятся; сам же он бежал молча, тенью скользя между деревьями, как это делали его отец и мать. Кроме того, связь его с Северной глушью была

теснее, чем у собак; он лучше понимал все ее тайны и хитрости. Чаще всего Белый Клык прибегал к такой уловке: переплывал ручей, запутывал свои следы и спокойно отлеживался где-нибудь в лесных зарослях, прислушиваясь к лаю потерявших его преследователей.

Вызывая и у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого— кот закон, который руководил им, Серый Бобр — божество, он наделен силой, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки — те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать.

В Белом Клыке развивались все те качества, которые Помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто; он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОГОНЯ ЗА БОГАМИ

Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Белый Клык зорко следил за этими приготовлениями, и, когда вигвамы были разобраны, а вещи погружены в пироги, он понял все. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду.

Белый Клык решил остаться и при первой же возможности улизнул из поселка в лес. Переплыв ручей, который уже затягивался льдом, он запутал свои следы. Потом забрался поглубже в чащу и стал ждать. Время шло. Он успел несколько раз заснуть, проснуться и снова заснуть. Его разбудил голос Серого Бобра. Потом послышались и другие голоса — жены хозяина, принимавшей участие в поисках, и Мит-Са — сына Серою Бобра.

Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из лесу, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина.

Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки. Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине: ни звука, ни движения… Это показалось ему подозрительным, его подстерегала какая-то неведомая опасность. Он всматривался в смутные очертания высоких деревьев, в густые тени между ними, где мог притаиться любой враг.

Потом ему стало холодно. Теплой стеньг вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поджимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного: перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Но сейчас его окружала тишина, сулившая не еду, а опасность.

Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от людей лиггтила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Его зрение и слух, привыкшие к шуму и движению поселка, к непрерывному чередованию звуков и картин, не находили себе работы. Ему нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность.

И вдруг Белый Клык вздрогнул. Что-то громадное и бесформенное пронеслось у него перед глазами. На землю легла тень дерева, освещенною выглянувшей из-за облаков луной. Успокоившись, он тихо заскулил, но, вспомнив, что это может привлечь к нему притаившегося где-нибудь врага, смолк.

Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой. Белый Клык взвыл и, не чуя под собой ног от ужаса, опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в загците, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в угпах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда.

Белый Клык остановился как вкопанный. Бежать было некуда. Он грустно бродил по опустевшему становищу, обнюхивая кучи мусора и хлама, оставленного богами. Теперь его обрадовал бы даже камень,

брошенный какой-нибудь рассерженной женщиной, даже тяжелая рука Серого Бобра, а Лип-Липа и всю рычащую, трусливую свору собак он встретил бы с восторгом.

Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам Серого Бобра, сел посредине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло; пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести и предчувствие грядущих невзгод и страданий — все это вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это выл волчий вой, впервые вырвавшийся из груди Белого Клыка.

С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось: он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше.

Там, где река протекала между крутыми берегами, Белый Клык бежал в обход, по горам. Ручьи и речки, впадавшие в Маккензи, он переплывал или переходил вброд. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега; тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, Белый Клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся в глубь страны.

По уму Белый Клык превосходил многих своих собратьев, и все-таки мысль о другом береге реки Маккензи не приходила ему в голову. Что, если след богов выйдет на ту сторону? Этого он не мог сообразить. Вероятно, позднее, когда Белый Клык набрался бы опыта в странствиях, повзрослел, научился бы отыскивать следы вдоль речных берегов, он допустил бы и эту возможность. Такая зрелость ждала его в будущем. Сейчас же он бежал наугад, принимая в расчет только один берег Маккензи.

Белый Клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через тридцать часов, его железные мускулы стали сдавать, поддерживало только напряжение воли. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Сказывались на нем и непрестанные погружения в ледяную воду. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал

прихрамывать —сначала слегка, потом все больше и больше. В довершение всего небо нахмурилось и пошел снег — мокрый, тающий снег, который прилипал к его разъезжавшимся лапам, заволакивал все вокруг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того мучительную дорогу.

В эту ночь Серый Бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел втом направлении. Но незадолго до темноты Клу-Куч, жена Серого Бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся Мит-Са из-за метели с правильного курса, Клу-Куч не заметила бы лося. Серый Бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый Бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а Белый Клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней.

Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и Белый Клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что Белый Клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидел пламя костра, Клу-Куч, занятую стряпней. Серого Бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сырого сала. У людей было свежее мясо!

Белый Клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Потом он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не миновать. Но он знал также, что будет греться около огня, будет пользоваться покровительством богов, встретит общество собак, хоть и враждебное ему, но все же общество, которое способно удовлетворить его потребность в близости к живым существам.

Белый Клык ползком приближался к костру. Серый Бобр увидел его и перестал жевать сало. Белый Клык пополз еще медленнее; чувство унижения и покорности давило его, заставляя пресмыкаться перед человеком. Он полз прямо к Серому Бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее, и, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый Клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним. Он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало.

Белый Клык украдкой взглянул вверх. Серый Бобр разорвал сало на две части. Серый Бобр протягивал ему кусок сала! Осторожно и недоверчиво Белый Клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса и, пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, Белый Клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале, среди богов, которым он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел.

ГЛАВА

ПЯТАЯ ДОГОВОР

В середине декабря Серый Бобр отправился вверх по реке Маккензи. Мит-Са и Клу-Куч поехали вместе с ним. Сани Серого Бобра везли собаки, которых он выменял или взял взаймы у соседей. Во вторые сани, поменьше, были впряжены молодые собаки, и ими правил Мит-Са. Упряжка и сани больше походили на игрушечные, но Мит-Са был в восторге: он чувствовал, что исполняет настоящую мужскую работу. Кроме того, он учился управлять собаками и натаскивать их, и щенки тоже привыкали к упряжи. Сани Мит-Са шли не пустые, а везли около двухсот фунтов всякого скарба и провизии.

Белому Клыку приходилось и раньше видеть ездовых собак, и, когда его самого в первый раз запрягли в сани, он не противился этому. На шею ему надели набитый мохом ошейник, от которого шли две лямки к ремню, перекинутому поперек груди и через спину; к этому ремню была привязана длинная веревка, соединявшая его с санями.

Упряжка состояла из семи собак. Всем им исполнилось по девять-десять месяцев, и только одному Белому Клыку было восемь. Каждая собака шла на отдельной веревке. Все веревки были разной длины, и разница между ними измерялась длиной корпуса собаки. Соединялись они в кольце на передке саней. Передок был загнут кверху, чтобы сани — берестяные, без полозьев — не зарывались в мягкий, пушистый снег. Благодаря такому устройству тяжесть самих саней и поклажи распределялась на большую поверхность. С той же целью — как можно более равномерного распределения тяжести — собак привязывали к передку саней веером, и ни одна из них не шла по следу другой.

У веерообразной упряжки было еще одно преимущество: разная длина веревок мешала собакам, бегущим сзади, кидаться на передних, а затевать драку можно было только с той соседкой, которая шла на более короткой веревке. Однако тогда нападающий оказывался нос к носу со своим врагом и, кроме того, подставлял себя под удары бича погонщика. Но самое большое преимущество этой упряжки заключалось в том, что, стараясь напасть на передних собак, задние налегали на постромки, а чем быстрее катились сани, тем быстрее бежала и преследуемая собака. Таким образом, задняя никогда не могла догнать переднюю. Чем быстрее бежала одна, тем быстрее удирала от нее другая и тем быстрее бежали все остальные собаки.

В результате всего этого быстрее катились и сани. Вот такими хитрыми уловками человек и укреплял свою власть над животными.

Мит-Са, очень похожий на отца, унаследовал от него и мудрость. Он давно уже заметил, что Лип-Лип не дает прохода Белому Клыку; но тогда у Лип-Липа были свои хозяева, и Мит-Са осмеливался только исподтишка бросать в него камнем. А теперь Лип-Лип принадлежал Мит-Са, и, решив отомстить ему за прошлое, Мит-Са привязал его на самую длинную веревку. Таким образом, Лип-Лип стал вожаком, ему как будто оказали большую честь, — но на самом деле чести в этом было мало, потому что забияку и главаря всей стаи Лип-Липа ненавидели и преследовали теперь все собаки.

Так как Лип-Лип был привязан на самую длинную веревку, собакам казалось, что он удирает от них. Им были видны только его задние ноги и пушистый хвост, а это далеко не так страшно, как вставшая дыбом шерсть и сверкающие клыки. Кроме того, зрелище бегущей собаки вызывает в других собаках уверенность, что она убегает именно от них и что ее надо во что бы то ни стало догнать.

Как только сани тронулись, вся упряжка погналась за Лип-Липом, и эта погоня продолжалась весь день. На первых порах оскорбленный Лип-Лип то и дело порывался кинуться на своих преследователей, но Мит-Са каждый раз хлестал его по голове тридцатифутовым бичом, свитым из вяленых оленьих кишок, и заставлял вернуться на место. Лип-Лип не побоялся бы схватиться со всей упряжкой, однако бич был куда страшнее, — и ему не оставалось ничего другого, как натягивать веревку и уносить свои бока от зубов товарищей.

Ум индейца неистощим на хитрости. Чтобы усилить вражду всей упряжки к Лип-Липу, Мит-Са стал отличать его перед другими собаками, возбуждая в них ревность и ненависть к вожаку. Мит-Са кормил его мясом в присутствии всей своры и никому другому мяса не давал. Собаки приходили в ярость. Они метались вокруг Лип-Липа, пока он ел, но близко подходить не осмеливались, так как Мит-Са стоял возле него с бичом в руке. А когда мяса не было, Мит-Са отгонял упряжку подальше и делал вид, что кормит Лип-Липа.

Белый Клык принялся за работу охотно. Покорившись богам, он в свое время проделал гораздо более длинный путь, чем остальные собаки, и гораздо глубже, чем они, постиг всю тщетность сопротивления воле богов. Кроме того, ненависть, которую питали к нему все собаки, уменьшала их значение в его глазах и увеличивала значение человека. Он не нуждался в обществе своих собратьев: Кичи была почти забыта, и верность богам,

власть которых признал над собой Белый Клык, служила ему чуть ли не единственным способом выражать свои чувства. И Белый Клык усердно работал, слушался приказаний и подчинялся дисциплине. Он трудился честно и охотно. Честность в труде присуща всем прирученным волкам и прирученным собакам, а Белый Клык был наделен этим качеством в полной мере.

Белый Клык общался и с собаками, но это общение выражалось во вражде и ненависти. Он никогда не играл с ними. Он умел драться — и дрался, воздавая сторицей за все укусы и притеснения, которые ему пришлось вынести в те дни, когда Лип-Лип был главарем стаи. Теперь Лип-Лип главенствовал над ней лишь тогда, когда бежал на конце длинной веревки впереди своих товарищей и подскакивающих по снегу саней. На стоянках Лип-Лип держался поближе к Мит-Са, Серому Бобру и Клу-Куч, не решаясь отойти от богов, потому что теперь клыки всех собак были направлены против него и он испытал на себе всю горечь вражды, которая приходилась раньше на долю Белого Клыка.

После падения Лип-Липа Белый Клык мог бы сделаться вожаком стаи, но он был слишком угрюм и замкнут для этого. Товарищи по упряжке получали от него только одни укусы, в остальном он словно не замечал их. При встречах с ним они сворачивали в сторону, и ни одна, даже самая смелая, собака не решалась отнять у Белого Клыка его долю мяса. Напротив, они старались как можно скорее проглотить свою долю, боясь, как бы он не отнял ее. Белый Клык хорошо усвоил закон: притесняй слабого и подчиняйся сильному. Он торопливо съедал брошенный хозяином кусок, и тогда — горе той собаке, которая еще не кончила есть. Грозное рычание, оскаленные клыки — и ей оставалось только изливать свое негодование равнодушным звездам, пока Белый Клык доканчивал ее долю.

Время от времени го одна, то другая собака поднимала бунт против Белого Клыка, но он быстро усмирял их. Он ревниво оберегал свое обособленное положение в стае и нередко брал его с бою. Но такие схватки бывали непродолжительны. Собаки не могли тягаться с ним. Он наносил раны противнику, не дав ему опомниться, и собака истекала кровью, еще не успев как следует начать драку.

Белый Клык так же, как и боги, поддерживал среди своих собратьев суровую дисциплину. Он не давал им никаких поблажек и требовал безграничного уважения к себе. Между собой собаки могли делать все что угодно. Это его не касалось. Белый Клык следил только за тем, чтобы собаки не посягали на его обособленность, уступали ему дорогу, когда он появлялся среди стаи, и признавали его господство над собой. Стоило

какому-нибудь смельчаку принять воинственный вид, оскалить зубы или ощетиниться, как Белый Клык кидался на него и без всякой жалости доказывал ему ошибочность его поведения.

Он был свирепым тираном, он правил с железной непреклонностью. Слабые не знали пощады от него.

Жестокая борьба за существование, которую ему пришлось вести с раннего детства, когда вдвоем с матерью, одни, без всякой помощи, они бились за жизнь, преодолевая враждебность Северной глуши, не прошла бесследно. При встречах с сильнейшим противником Белый Клык вел себя смирно. Он угнетал слабого, но зато уважал сильного. И когда Серый Бобр встречал на своем долгом пути стоянки других людей, Белый Клык ходил между чужими взрослыми собаками тихо и осторожно.

Прошло несколько месяцев, а путешествие Серого Бобра все еще продолжалось. Долгая дорога и усердная работа в упряжке укрепили силы Белого Клыка, и умственное развитие его, видимо, завершилось. Окружающий мир был познан им до конца. И он смотрел на него мрачно, не питая по отношению к нему никаких иллюзий. Мир этот был суров и жесток, в нем не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанностей.

Белый Клык не чувствовал привязанности даже к Серому Бобру. Правда, Серый Бобр был богом, но богом жестоким. Белый Клык охотно признавал его власть над собой, хотя власть эта основывалась на умственном превосходстве и на грубой силе. В натуре Белого Клыка было нечто такое, что шло навстречу этому господству, иначе он не вернулся бы из Северной глуши и не доказал бы этим своей верности богам. В нем таились еще никем не исследованные глубины. Добрым словом или ласковым прикосновением Серый Бобр мог бы проникнуть в эти глубины, но Серый Бобр никогда не ласкал Белого Клыка, не сказал ему ни одного доброго слова. Эи> было не и его обычае. Превосходство Серого Бобра основывалось на жестокости, и с такой же жестокостью он повелевал, отправляя правосудие при помощи палки, наказуя преступление физической болью и воздавая по заслугам не лаской, а тем, что воздерживался от удара.

И Белый Клык не подозревал о том блаженстве, которым может наградить рука человека. Да он и не любил человеческих рук: в них было что-то подозрительное. Правда, иногда эти руки давали мясо, но чаще всего они ггричиняли боль. От них надо было держаться подальше, они швыряли камни, размахивали палками, дубинками, бичами, они могли бить и толкать, а если и прикасались, то лишь затем, чтобы ущипнуть, дернуть, вырвать клок шерсти. В чужих поселках он узнал, что детские руки тоже

умеют причинять боль. Какой-то малыш однажды чуть не выколол ему глаз. После этого Белый Клык стал относиться к детям с большой подозрительностью. Он просто не пыносил их. Когда те подходили и протягивали к нему свои руки, не сулившие добра, он вставал и уходил.

В одном из поселков на берегу Большого Невольничьего озера Белому Клыку довелось уточнить преподанный ему Серым Бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках, Белый Клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый Клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый Клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом.

Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый Клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено, он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый Клык хорошо знал закон: все остатки мяса, например, кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит; он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался побить его. Белый Клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы Белого Клыка ггрокусили ему руку, державшую дубинку.

Но Белый Клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту Серого Бобра и сидел, съежившись, у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем; Серый Бобр стал на защиту Белого Клыка. То же сделалали Мит-Са и Клу-Куч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, Белый Клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные: они делятся на его богов и на богов чужих; и это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все—и справедливость и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов, он вправе мстить за нее зубами. И это также было законом.

В тот же день Белый Клык познакомился с новым законом еще ближе.

Собирая хворост в лесу, Мит-Са натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Мит-Са. Ему приходилось плохо. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый Клык сначала просто наблюдал за дракой — это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Мит-Са, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. Пять минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о том, что зубы Белого Клыка не бездействовали. Когда Мит-Са рассказал в поселке о случившемся, Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса. Он велел дать ему много мяса. И Белый Клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно.

Вслед за этим Белый Клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и Белый Клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними; и все-таки Белый Клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство дома побеждало в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество Серого Бобра в покое.

Белый Клык скоро понял, что вороватые боги трусливы и, заслышав тревогу, сейчас же убегают. Кроме того (как он убедился на опыте), промежуток времени между поднятой тревогой и появлением Серого Бобра бывал обычно очень короткий. И он понял также, что вор убегает не потому, что боится его, Белого-Клыка, а потому, что боится Серого Бобра. Учуяв вора, Белый Клык не поднимал лая — да он и не умел лаять, — он кидался на непрошеного гостя и, если удавалось, впивался в него зубами. Угрюмость и необщительность помогли Белому Клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и Серый Бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов Белый Клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в себе.

Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из Северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам — волкам и диким собакам, Белый Клык сам выработал условия этого договора. Они были

очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От бога Белый Клык получил общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему.

Если у тебя есть бог, ему надо служить. И Белый Клык служил своему богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Кроме того, отдавшись человеку, Белый Клык не только порвал с Северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для Белого Клыка, и закон этот был сильнее любви к свободе, сильнее кровных уз.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГОЛОД

Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие Серого Бобра кончилось. В один из апрельских дней Белый Клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый поселок, и там Мит-Са снял с него упряжь. Хотя Белый Клык еще не достиг полной зрелости, все же после Лип-Липа он был самым крупным из годовалых щенков.

Унаследовав свой рост и силу от отца-волка и от Кичи, он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения. Тело у него было поджарое и стройное; в драках он брал скорее увертливостью, чем силой; шкура серая, как у волка. И по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от Кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без ее участия.

Белый Клык бродил по поселку, с чувством спокойного удовлетворения узнавая богов, знакомых ему еще до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за что время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый Клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринужденностью, доставлявшей ему на первых порах большое удовольствие.

Был здесь и старый седой Бэсик, которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать Белого Клыка за тридевять земель. В прежние дни Бэсик не раз заставлял Белого Клыка убеждаться в собственном ничтожестве, но теперь тот же Бэсик помог ему оценить происшедшие в нем самом перемены. Бэсик старел, дряхлел, а Белый Клык был молод, и сил у него прибывало с каждым днем.

Перемена во взаимоотношениях с собаками стала ясна Белому Клыку вскоре после возвращения в поселок. Люди разделывали тушу только что убитого лося. Он получил копыто с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, Белый Клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бэсик. Еще не успев как следует сообразить, в чем дело, Белый Клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такой дерзкой и стремительной атаки, Бэсик бессмысленно уставился на Белого Клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними.

Бэсик был стар и уже испытал на себе отвагу той самой молодежи,

которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это ни было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил бы его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. Весь ощетинившись, он грозно поглядывал на Белого Клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съежился, словно маленький щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с возможно меньшим позором.

Тут-то Бэсик и совершил ошибку. Удовольствуйся он грозным и свирепым видом — все сошло бы хорошо. Приготовившийся к бегству Белый Клык отступил бы, оставив кость ему. Но Бэсик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и понюхал кость. Белый Клык слегка ощетинился. Даже сейчас можно было спасти положение. Продолжай Бэсик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, Белый Клык в конце концов удрал бы. Но ноздри Бэсику щекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость.

Этого Белый Клык не смог перенести. Господство над товарищами по упряжке было еще свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению он кинулся на Бэсика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло клочьями. Внезапность нападения ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой же внезапностью последовали еще более печальные события: Бэсик был сбит с ног, на шее его зияла рана. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей. Бэсик кинулся на Белого Клыка, но зубы его только яростно щелкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бэсика оказался располосованным, и он, шатаясь, отступил прочь.

Положение круто изменилось. Над костью стоял грозно ощетинившийся Белый Клык, а Бэсик держался поодаль, готовясь в любую минуту отступить. Он не осмеливался затеять драку с молодым, быстрым, как молния, противником. И снова, с еще большей горечью, Бэсик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической. Спокойно повернувшись спиной к молодой собаке и лежавшей на земле кости, как будто и то и другое совершенно не заслуживало внимания, он величественно удалился. И только тогда, когда Белый Клык уже не мог видеть его, Бэсик лег на землю

и начал зализывать свои раны.

После этого случая Белый Клык окончательно уверовал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расхаживал среди взрослых собак, стал не так уступчив. Не то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет, — он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права и не хотел отступать перед другими собаками. С ним приходилось считаться, вот и все. Никто не смел пренебрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой участью приходилось всей упряжке, щенки сторонились взрослых собак, уступали им дорогу, а иногда были вынуждены отдавать им свою долю мяса. Но необщительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающийся всех Белый Клык был принят как равный в среду взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оставить в покое, не объявляли ему войны и не делали попыток завязать с ним дружбу. Белый Клык платил им тем же, и после нескольких стычек собаки убедились, что такое положение дел устраивает всех как нельзя лучше.

В середине лета с Белым Клыком произошел неожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысцой в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, Белый Клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил мать смутно, все-таки помнил, а Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она оскалила на него зубы, и Белый Клык вспомнил все. Детство и то, о чем говорило это рычание, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для Белого Клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый Клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом.

Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год или больше года. Гаки Кичи забыла Белого Клыка. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам.

Один из ее щенков подполз к Белому Клыку. Сами того не зная, они приходились друг другу сводными братьями. Белый Клык с любопытством обнюхал щенка, за что Кичи еще раз наскочила на него и располосовала ему морду. Белый Клык попятился еще дальше. Все старые воспоминания, воскресшие было в нем, снова умерли и превратились в прах. Он смотрел на Кичи, которая лизала своего детеныша и время от времени поднимала голову и рычала. Теперь Кичи была не нужна Белому Клыку. Он научился обходиться без нее и забыл, чем она была дорога ему. В его мире не

осталось места для Кичи, так же как и в ее мире не осталось места для Белого Клыка.

Воспоминаний как не бывало — он стоял растерянный, ошеломленный всем случившимся. И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый Клык покорился. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе, он постиг его не на основании жизненного опыта, — этот закон был подсказан ему инстинктом, тем самым инстинктом, который заставлял его выть на луну, на ночные звезды, бояться смерти и неизвестного.

Месяцы шли один за другим. Сил у Белого Клыка все прибавлялось, он становился крупнее, шире в плечах, а характер его развивался по тому пути, который предопределяли наследственность и окружающая среда. Белый Клык был создан из материала, мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так, не подойди Белый Клык на огонь, зажженный человеком, Северная глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из Белого Клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и все-таки это была собака, а не волк.

И вот под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан Белый Клык, принял определенную форму. Это было неизбежно. Он становился все угрюмее, злее, он сторонился своих собратьев. И они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать, а Серый Бобр день ото дня все больше и больше ценил его.

Но возмужалость не освободила Белого Клыка от одной слабости: он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость: степенная, полная достоинства собака неистовствовала до нелепости. Смех так озлоблял ее, что она превращалась в сущего дьявола. И горе тем щенкам, которые попадались Белому Клыку в эти минуты! Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на Сером Бобре; Серому Бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ничего, кроме открытого пространства, которое и спасало их, когда перед ними появлялся Белый Клык, доведенный смехом до бешенства.

Когда Белому Клыку пошел третий год, индейцев, живших на реке Маккензи, постиг голод. Летом не ловилась рыба. Зимой олени ушли со своих обычных мест. Лоси попадались редко, зайцы почти исчезли.

Хищные животные гибли. Изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Выживали только сильные. Боги Белого Клыка всегда промышляли охотой. Старые и слабые среди них умирали один за другим. В поселке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи.

Голод довел богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели все это и понимали, что их ждет такая же участь. Те, что были посмелее и поумнее, покинули костры, разведенные человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала голодная смерть или волчьи зубы.

В это тяжелое время Белый Клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки,— сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю; при этом он проявлял такое громадное терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его голоду. Белый Клык никогда не торопился. Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда, и только тогда, Белый Клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели — мимо белки, которую не могли спасти ее быстрые ноги.

Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, одно обстоятельство мешало Белому Клыку наедаться досыта: белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодной, как он сам, но в тысячу раз более свирепой.

Когда голод донимал Белого Клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами, и обкрадывал силки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал силок на зайца, поставленный Серым Бобром, а Серый Бобр в это время шел, пошатываясь, по лесу и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости.

Как-то раз Белый Клык наткнулся на молодого волка, изможденного и

еле державшегося на ногах. Если бы Белый Клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и в конце концов примкнул бы к волчьей стае, но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его.

Судьба, казалось, благоприятствовала Белому Клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало, — ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых два дня, Белый Клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая, жестокая погоня, но Белый Клык был крепче волков и в конце концов убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из своих изможденных преследователей.

Вскоре Белый Клык покинул эти места и отправился в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Кичи. Кичи тоже покинула негостеприимные костры богов и, как только ей пришла пора щениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился Белый Клык, из всего выводка Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни,— молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод.

Прием, который Кичи оказала своему взрослому сыну, нельзя было назвать теплым. Но Белый Клык отнесся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в матери, он невозмутимо отвернулся от нее и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве Белый Клык нашел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь день.

Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, Белый Клык встретил Лип-Липа, который, так же как и он, убежал в лес и влачил там жалкое существование. Белый Клык встретил его совершенно неожиданно. Огибая с противоположных сторон выступ крутого берега, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, испуганные такой встречей, и уставились друг на друга.

Белый Клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и ел много, а последней своей добычей был сыт до отвала. Но стоило ему только увидеть Лип-Липа, как шерсть у него на спине встала дыбом. Он ощетинился совершенно непроизвольно — это внешнее проявление злобы в прошлом сопутствовало каждой встрече с забиякой Лип-Липом. Гак было и теперь: завидев своего врага. Белый Клык ощетинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала даром. Вес

было сделано быстро, в одно мгновение. Лип-Лип попятился назад, но Белый Клык сшибся с ним плечо к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и впился зубами в его жилистую шею. Лип-Лип бился в предсмертных судорогах, а Белый Клык похаживал вокруг, не сводя с него глаз. Затем он снова пустился в путь и исчез за крутым поворотом берега.

Вскоре после этого Белый Клык выбежал на опушку леса и по узкой прогалине спустился к реке Маккензи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу было пусто, а сейчас тут виднелся поселок. Белый Клык остановился и, не выходя из-за деревьев, стал осматриваться. Звуки и запахи показались ему знакомыми. Это был старый поселок, перебравшийся на другое место, но в его звуках и запахах чувствовалось что-то новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки творили о довольстве. И когда Белый Клык услышал сердитый женский голос, он понял, что так сердиться можно только на сытый желудок. В воздухе пахло рыбой — значит, в поселке была пища. Голод кончился. Он смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клу-Куч встретила Белого Клыка радостными криками, дала ему целую свежую рыбину, и он лег и стал ждать возвращения Серого Бобра.

Часть четвертая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВРАГ

Если в натуре Белого Клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла нос ле того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его; возненавидели за то, что Мит-Са подкидывал ему лишний кусок мяса; возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался; возненавидели за то, что он всегда бежал в голове упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног.

И Белый Клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение трех лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Мит-Са трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым Клыком.

Защищаться он не мог: стоило ему повернуть голову к собакам, как Мит-Са хлестал его по морде бичом. Белому Клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение неси завывающей своры он не мог, — таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И Белый Клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость, а бежать гак приходилось целый день.

Такое насилие над собой не проходит безнаказанно. Если волос, выросший на теле, заставить расти в глубь кожи, он будет причинять мучительную боль. То же самое происходило и с Белым Клыком. Всем своим существом он стремился разделаться с собаками, преследующими его по пятам, но волю богов нарушать было нельзя, тем более что воля их подкреплялась ударами тридцатифутового бича, свитого из оленьих кишок. И Белый Клык терпел все это, затаив в себе такую ненависть и злобу, на какую только был способен его свирепый и неукротимый нрав.

Если какое-нибудь живое существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к Белому Клыку. Он никогда не просил пощады, и сам никого не щадил. Раны и шрамы не сходили у него с тела, а собаки, в свою очередь, не расставались с отметинами его зубов. В

противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, Белый Клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда Белый Клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день Белый Клык убегал от них, находился в их власти, — все это не позволяло собакам отступать перед ним. Стоило ему появиться среди стаи, сейчас же начиналась драка. Его прогулки по стоянке сопровождались рычанием, грызней, визгом. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом.

Когда Мит-Са приказывал упряжке остановиться, Белый Клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак, все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот: размахивая бичом, на помощь Белому Клыку приходил Мит-Са. И собаки поняли наконец, что, если сани останавливаются по приказанию Мит-Са, вожака лучше не трогать. Но если Белый Клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу.

Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да Белый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь.

Но для собак эти уроки пропадали даром — они не оставляли его в покое на стоянках. Дневная погоня и яростный лай, в который упряжка вкладывала всю свою ненависть к вожаку, заставляли ее забывать то, что было предыдущей ночью; на следующую ночь урок повторялся, но к утру от него не оставалось и следа. Кроме того, вражду собак к Белому Клыку питало еще одно немаловажное обстоятельство: они чувствовали в нем иную породу, и этого было вполне достаточно, чтобы противопоставить их друг другу.

Так же как и Белый Клык, все они были прирученные волки, но за ними стояло уже несколько прирученных поколений. Многое, чем наделяет волка Северная глушь, было уже утеряно, и для собак в Северной глуши таилась лишь неизвестность, вечная угроза и вечная вражда. Но внешность Белого Клыка, все его повадки и инстинкты говорили о крепкой связи с Северной глушью; он был символом и олицетворением ее. И поэтому, скаля на него зубы, собаки тем самым охраняли себя от гибели, таившейся

в сумраке лесов и во тьме, со всех сторон обступавшей костры человека.

Впрочем, один урок собаки заучили твердо: надо держаться вместе. Белый Клык был слишком опасным противником, и никто не решался встретиться с ним один на один. Собаки нападали на него всей сворой, иначе он разделался бы с ними за одну ночь. И Белому Клыку не удавалось разделаться ни с одним из своих врагов. Он сбивал противника с ног, но стая сейчас же набрасывалась на него, не давая ему прокусить собаке горло. При малейшем намеке на ссору вся упряжка дружно ополчалась на своего вожака. Собаки постоянно грызлись между собой, но стоило только кому-нибудь из них затеять драку с Белым Клыком, как все прочие ссоры мигом забывались.

Однако загрызть Белого Клыка они не могли при всем свезем старании. Он был слишком подвижен для них, слишком грозен и умен. Он избегал тех мест, где можно было попасть в ловушку, и всегда ускользал, когда свора старалась окружить его кольцом. А о том, чтобы сбить Белого Клыка с ног, не могла помышлять ни одна собака. Ноги его с таким же упорством цеплялись за землю, с каким сам он цеплялся за жизнь. И поэтому в той нескончаемой войне, которую Белый Клык вел со стаей, сохранить жизнь и удержаться на ногах — были для него понятия равнозначные, и никто не знал этого лучше, чем он сам.

Итак, Белый Клык стал непримиримым врагом своим собратьев — врагом волков, которые пригрелись у костра, разведенного человеком, и изнежились под спасительною сенью человеческого могущества. Таким сделала его жизнь. Он объявил кровную месть всем собакам и мстил так жестоко, что даже Серый Бобр, в котором было достаточно ярости и дикости, не мот надивиться злобе Белого Клыка. «Нет другой такой собаки!» — говорил Серый Бобр. И индейцы из чужих поселков подтверждали его слова, вспоминая, как Белый Клык расправлялся с их собаками.

Белому Клыку было около пяти лет, когда Серый Бобр снова взял его с собой в длинное путешествие, и в поселках у Скалистых Гор, вдоль рек Маккензи и Поркьюпайн, вплоть до самого Юкона, долго помнили расправы Белого Клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого, им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так внезапно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим, как молния, с одного удара. Собаки В чужих поселках подходили к Белому Клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал

противника, не дав ему опомниться от изумления.

Белый Клык стал опытным бойцом. Он дрался расчетливо, никогда не тратил сил понапрасну, не затягивал борьбы. Он налетал и, если случалось промахнуться, сейчас же отскакивал назад. Как и все волки. Белый Клык избегал длительного соприкосновения с противником. Он не выносил этого. Такое соприкосновение – таило в себе опасность и приводило его в бешенство. Он хотел быть свободным, хотел твердо держаться на ногах. Северная глушь не выпускала Белого Клыка из своих цепких объятий и утверждала свою власть над ним. Отчужденность с самого раннего детства от общества ему подобных только усилила в нем это стремление к свободе. Непосредственная близость к противнику таила в себе какую-то угрозу, Белый Клык подозревал здесь ловушку, и страх перед этой ловушкой не покидал его.

Чужие собаки не могли тягаться с ним. Белый Клык увертывался от их клыков; он расправлялся с ними и убегал невредимый. Правда, нет правила без исключения. Бывало и так, что на Белого Клыка налетало сразу несколько противников и он не успевал убежать от них, а иногда ему здорово влетало и от какой-нибудь одной собаки. Но это случалось редко. Белый Клык стал таким искусным бойцом, что выходил с честью почти из всех драк.

Он обладал еще одним достоинством — умением правильно рассчитывать время и расстояние. Делалось это, разумеется, совершенно бессознательно. Просто его никогда не подводило зрение, и весь его организм, слаженный лучше, чем у других собак, работал точно и быстро; координация сил умственных и физических была совершеннее, чем у них. Когда зрительные нервы передавали мозгу Белого Клыка движущееся изображение, его моя без всякого усилия определял пространство и время, необходимое для того, чтобы это движение завершилось. Таким образом, он мог увернуться от прыжка собаки или от ее клыков и в то же время использовать каждую секунду, чтобы самому броситься на противника. Но воздавать ему хвалу за это не следует,— природа одарила его более щедро, чем других, вот и все.

Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В конце зимы Серый Бобр пересек водораздел между Маккензи и Юконом и всю весну проохотился на западных отрогах Скалистых Гор. А когда река Поркью-пайн очистилась ото льда, Серый Бобр сделал пирогу и спустился вниз по ней к месту слияния ее с Юконом, как раз под самым Полярным кругом. Здесь стоял форт Компании Гудзонова залива. В форте было мною индейцев, много съестных припасов, — повсюду царило небывалое

оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. До цели путешествия им оставались еще сотни миль, а между тем многие из них находились в нуги уже год; меньше пяти тысяч миль не сделал никто, а некоторые приехали сюда с другого конца света.

В форте Юкон Серый Бобр сделал остановку. Слухи о золотой лихорадке достигли и его ушей, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекла сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов сто процентов, а убедился, ЧТО можно выручить и тысячу. И, как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не просчитаться и не продешевить.

В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы — богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой; ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека, а теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами.

Разумеется, Белый Клык только чувствовал все это и не отдавал себе ясного отчета в своих ощущениях. Но животные действуют чаще всего на основании именно таких ощущений; и каждый поступок Белого Клыка объяснялся теперь уверенностью в могуществе белых богов. Он относился к ним с большой опаской. Кто знает, какого неведомого ужаса и какой новой беды можно ждать от них? Белый Клык с любопытством наблюдал за белыми богами, но боялся попадаться им на пути. Первые несколько часов он довольствовался чем, что настороженно следил за ними издали, но потом, увидев, что белые боги не причиняют никакого вреда своим собакам, подошел поближе.

В свою очередь, Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание: его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него

друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него рукой — и хорошо, что не удавалось.

Вскоре Белый Клык узнал, что очень немногие из этих богов — всего человек десять — постоянно живут в форте. Каждые два-три дня к берегу приставал пароход (еще одно великое доказательство всемогущества белых людей) и по нескольку часов стоял у причала. Боги приезжали и снова уезжали на пароходах. Казалось, людям этим нет числа. В первые же два дня Белый Клык увидел их столько, сколько не видел индейцев за всю свою жизнь. И каждый день они приезжали, ходили по форту и снова уезжали вверх по реке.

Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Вес они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги; у других — длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться.

Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением: они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону. Они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло.

Часто укус этот бывал смертельным, и его противник бился в грязи под ногами индейских собак, которые только и ждали той минуты, когда можно будет броситься всей стаей и разорвать чужака на куски. Белый Клык был мудр. Он уже давно знал, что боги гневаются, когда кто-нибудь убивает их собак. Белые боги не составляли исключения. Поэтому, свалив противника с ног и прокусив ему горло, он отбегал в сторону и позволял стае доканчивать начатое им дело. В это нремя белые люди подбегали и обрушивали свой гнев на стаю, а Белый Клык выходил сухим из воды. Обычно он стоял в стороне и наблюдал, как его собратьев бьют камнями, палками, топорами и всем, что только попадалось людям под руку. Белый Клык был мудр.

Но ею собратья тоже кое-чему научились: они поняли, что самая потеха начинается в ту минуту, когда пароход пристает к берегу. Вот собаки

сбежали с парохода, и две-три из них мгновенно оказались растерзанными. Тогда люди загоняют остальных обратно и принимаются за жестокую расправу. Однажды белый человек, на глазах у которого разорвали его сеттера, выхватил револьвер. Он выстрелил шесть раз подряд, и шесть собак из стаи повалились замертво. Это было еще одно проявление могущества белых людей, надолго запомнившееся Белому Клыку.

Белый Клык упивался всем этим, он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками белых людей просто развлекали его, потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател. И Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытия пароходов. Как только пароход причаливал к берегу, начиналась потеха. К тому времени, когда белые люди приходили в себя от неожиданности, собачья свора разбегалась в разные стороны и ожидала следующего парохода.

Однако Белого Клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался В стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов.

Для того чтобы затеять такую ссору, не требовалось большого труда. Белому Клыку стоило только показаться на пристани, когда чужие собаки сходили на берег, — и этого было достаточно, они кидались на него. Так повелевал им инстинкт. Собаки чуяли в Белом Клыке Северную глушь, неизвестное, ужас, вечную угрозу; чуяли в нем то, что ходило, крадучись, во мраке, окружающем человеческие костры, когда они, подобравшись к этим кострам, отказывались от своих прежних инстинктов и боялись Северной глуши, покинутой и преданной ими. От поколения к поколению передавался собакам этот страх перед Северной глушью. Северная глушь грозила гибелью, но их повелители дали им право убивать все живое, что приходит оттуда. И, воспользовавшись этим правом, они защищали себя и богов, допустивших их в свое общество.

И поэтому выходцам с Юга, сбепжшим по сходням на берег Юкона, достаточно было увидеть Белого Клыка, чтобы почувствовать непреодолимое желание кинуться и растерзать его. Среди приезжих собак попадались и городские, но инстинктивный страх перед Северной глушью сохранился и в них. На представшего перед ними средь бела дня зверя, похожего на волка, они смотрели не только своими глазами, — они

смотрели на Белого Клыка глазами предков, и память, унаследованная от всех предыдущих поколений, подсказывала им, что перед ними стоит волк, к которому порода их питает извечную вражду.

Все это доставляло удовольствие Белому Клыку. Если одним своим видом он заставляет собак кидаться в драку, тем лучше для него и тем хуже для них. Они чуяли в Белом Клыке свою законную добычу, и точно гак же относился к ним и он.

Недаром Белый Клык впервые увидел дневной свет в уединенном логовище и в первых же своих битвах имел таких противников, как белая куропатка, ласка и рысь. И недаром его раннее детство было омрачено враждой с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак. Сложись его жизнь по-иному — и он сам был бы иным. Не будь в поселке Лип-Липа, Белый Клык подружился бы с другими щенками, был бы больше; похож на собаку и с большей терпимое чью относился бы к своим собратьям. Будь Серый Бобр мягче и добрее, он сумел бы пробудить в нем чувство привязанности и любви. Но все сложилось по-иному. Жизнь круто обошлась с Белым Клыком, и он стал угрюмым, замкнутым, злобным зверем — врагом своих собратьев.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СУМАСШЕДШИЙ БОГ

Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя «кислым тестом» и очень гордились этим. Тех, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались «чечако». Новички сильно недолюбливали свое прозвище. Они замешивали тесто на сухих дрожжах, и это проводило резкую грань между ними и старожилами, которые ставили хлеб на закваске, потому что дрожжей у них не было.

Но все это — между прочим. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы Белого Клыка и всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Как только пароход подходил, старожилы форта спешили на берег, чтобы не прозевать потехи. Они предвкушали развлечение не меньше индейских собак и, конечно, сейчас же оценили ту роль, какую играл в этих драках Белый Клык.

Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслышав гудок приближающегося парохода, он со всех ног пускался к берегу, а когда драка заканчивалась и свора собак разбегалась в разные стороны, человек этот медленно уходил с пристани, всем своим видом выражая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная южная собака с предсмертным воем падала на землю и погибала, раздираемая на клочки налетевшей на нее сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга. И каждый раз он завистливо поглядывал на Белого Клыка.

Старожилы форта прозвали этого человека «Красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как Красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало; поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, а на его щуплом теле сидела неправильной формы, удлиненная голова. В детстве, еще до того как за ним укрепилось новое прозвище, «Красавчик», сверстники звали его «Гвоздиком».

Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила Красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так

широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди, а может быть, это только так казалось, ибо шея у Красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши.

Нижняя челюсть придавала его лицу выражение свирепой решительности, но в эту решительность как-то не верилось, — возможно, потому, что челюсть была слишком уж велика и массивна. Другими словами, никакой решительности в натуре Красавчика Смита не было и в помине. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски, она соскребла для них все остатки со своей палитры — и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на скулах, напоминая растрепанный ветром сноп соломы.

Короче говоря, Красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую черную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, Красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь нужно было заниматься стряпней, а Красавчик Смит, несмотря на все его недостатки, знал свое дело.

Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью Белого Клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с Белым Клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Когда заигрывания стали настойчивее, Белый Клык скалил на Красавчика Смита зубы, ощетинивался и убегал. Этот человек не нравился ему. Белый Клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса.

Добро и зло воспринимаются простым существом очень просто. Добро есть нее то, что прекращает боль, что несет с собой свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно приносит беспокойство, опасность, страдание. Как над гнилым болотом поднимается туман, так и от уродливого тела и грязной душонки Красавчика Смита веяло чем-то дурным, нездоровым. Бессознательно, словно с помощью шестого чувства, Белый Клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть.

Белый Клык был дома, когда Красавчик Смит впервые зашел на стоянку Серого Бобра. Еще задолго до появления Красавчика Смита, по одному звуку ею шагов, Белый Клык понял, кто идет к ним, и ощетинился. Хоть ему было и очень удобно лежать, но лишь только этот человек подошел ближе, он сейчас же поднялся и бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Белый Клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у Серою Бобра, он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы Красавчик Смит показал на Белою Клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии пятидесяти футов от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит захохотал, и Белый Клык решил скрыться в лес и, убегая, все оглядывался назад, на разговаривавших людей.

Серый Бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь — ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый Клык мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит — все равно что человеку прихлопнуть комара. (Глаза у Красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы.) Нет, Серый Бобр ни за какие деньги не продаст Белого Клыка.

Но Красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к Серому Бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством — оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у Серого Ковра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у Серого Бобра, тем он становился беспокойнее.

Наконец все ушло — и деньги, и товары, и спокойствие. У Серого Бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда Красавчик Смит снова завел речь о продаже Белого Клыка; но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и Серый Бобр прислушался к предложению более внимательно.

— Сумеешь поймать — собака твоя, — было его последнее слово.

Бутылки перешли к нему, но через два дня Красавчик Смит сам сказал Серому Бобру:

— Поймай собаку.

Вернувшись как-то вечером домой, Белый Клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. За последние дни

он все больше и больше приставал к Белому Клыку, и тот предпочел на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую опасность таят в себе руки этого человека, он только чуял что-то недоброе и решил держаться от них подальше.

Как только Белый Клык улегся, Серый Бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом Серый Бобр сел рядом с Белым Клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку и то и дело прикладывался к ней, и тогда Белый Клык слышал бульканье.

Так прошел час, и вдруг до ушей Белого Клыка донес лист, звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и, догадавшись, кто идет, весь ощетинился. Серый Бобр сидел и клевал носом. Белый Клык осторожно потянул ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались крепче, и Серый Бобр проснулся.

Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с Белым Клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала упускаться над его головой. Белый Клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускатьс я, а Белый Клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый Бобр ударил Белого Клыка по голове, и гот снова покорно лег на землю. Белый Клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что Красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый Бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый Клык все еще лежал. Серый Бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый Клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил Белого Клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый Бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и Белый Клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги.

Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый Клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за Красавчиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал палку наготове.

Придя в форт, Красавчик Смит крепко привязал Белого Клыка и улегся

спать. Белый Клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь десять секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну: ремень был перерезан наискось чисто, как ножом. Оглядевшись по сторонам, Белый Клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму Серого Бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя Серому Бобру, и никто другой, кроме Серого Бобра, не мог владеть им.

Все предыдущее повторилось, нос некоторой разницей. Серый Бобр снопа привязал его и утром отвел к Красавчику Смиту. Вот тут-то Белый Клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому Клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смт пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев Белому Клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Даже та порка, которую когда-то давно ему задал Серый Бобр, была пустяком по сравнению с тем, что пришлось вынести теперь.

Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда Белый Клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Все живое любит власть, и Красавчик Смит не представлял собою исключения: не имея возможности властвовать над равными себе, он пользовался беззащитностью животных. Но Красавчика Смита не следует винить за это. Уродливое тело и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь обошлась с ним сурово и не выправила его.

Белый Клык знал, почему его бьют. Когда Серый Бобр надел ремеиь ему на шею и передал привязь Красавчику Смиту, Белый Клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда Красавчик Смит посадил его на привязь в форте-, он понял, что тог приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Ему приходилось и раньше видеть, как собак, убежавших от нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Белый Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый Клык не любил Серого Бобра -— и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы Белого Клыка, верность отличала его от всех других животных, верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его

товарищами. После избиения Белого Клыка оттащили обратно в форт, и на этот раз Красавчик Смит привязал его по индейскому способу — с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко, и Белый Клык испытал это на себе. Серый Бобр был для него богом, и он продолжал цепляться за Серого Бобра против его воли. Серый Бобр предал и отверг Белого Клыка, но это ничего не значило. Недаром же Белый Клык отдался Серому Бобру душой и телом. Узы, связывающие его с хозяином, было не так легко порвать. И ночью, когда весь форт спал, Белый Клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Палка была сухая и твердая и так близко примыкала к шее, что он с трудом, после мучительного напряжения мускулов, дотянулся до нее зубами, а для того, чтобы перегрызть привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливейшей работы. До него ни одна собака не делала ничего подобного, но Белый Клык сделал это и рано утром убежал из форта с болтавшимся на шее огрызком палки. Белый Клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к Серому Бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью — он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Снова Белый Клык позволил надет ь себе ремень па шею, и снова за ним пришел Красавчик Смит. И на этот раз Белому Клыку досталось еще больше. Серый Бобр безучастно смотрел, как белый человек взмахиваем хлыстом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не принадлежала ему. Когда избиение кончилось, Белый Клык был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла бы таких побоев, но Белый Клык вынес. Его закалила суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспособен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у других собак. Но сейчас Белый Клык еле дышал. Он не мог даже шевельнуться, Красавчику Смиту пришлось подождать с полчаса, прежде чем вести его домой. А потом Белый Клык встал, пошатываясь, и, ничего перед собой не видя, поплелся за Красавчиком Смитом в форт.

На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся Серый Бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Поркьюпайн на Маккензи. Белый Клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность) к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для Белого Клыка Красавчик Смит стал богом — страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но Белый Клык не знал, что такое сумасшествие; он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЦАРСТВО НЕНАВИСТИ

В руках сумасшедшего бога Белый Клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, Красавчик Смит посадил Белого Клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что Белый Клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над Белым Клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем Красавчик Смит.

До сих пор Белый Клык чувствовал вражду — правда, свирепую вражду — только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства Красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобное рычание которых он ничем не мог ответить. Белый Клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел Красавчика Смита.

Обращаясь так с Белым Клыком, Красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к Белому Клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, Белый Клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Белый Клык был великолепен в своей ярости. Полных пяти футов в длину и двух с половиной в вышину, он весил девяносто фунтов — гораздо больше любого взрослого волка. Массивный корпус собаки он унаследовал от матери, причем на теле его не было и следов жира. Мускулы, кости, сухожилия — и ни унции лишнего веса, как и подобает бойцу, который находится в прекрасной фррме.

Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый Клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый Клык никогда не видел такой породы (это был мастиф), но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой не дерево, не

железо, а живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосо вал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на Белого Клыка. Но Белый Клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад.

Зрители кричали, аплодировали, а Красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от Белого Клыка, расправлявшегося с противником Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что Красавчик Смит палкой отогнал Белого Клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке Красавчика Смита зазвенели деньги.

С этого дня Белый Клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы Белого Клыка, потому что Белый Клык всегда выходил победителем из таких сражений. Однажды к нему впустили одну за другой трех собак. Потом, через несколько дней, — только что пойманного взрослого волка. А в третий раз ему пришлось драться с двумя собаками сразу. Из всех его драк это была самая отчаянная, и хотя он уложил обоих своих противников, но к концу побоища и сам еле дышал.

Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, Красавчик Смит взял место для себя и для Белого Клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону в Доусон. Слава о Белом Клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой «бойцового волка», и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Он рычал и кидался на зрителей или же лежал неподвижно и с холодной ненавистью смотрел на них. Разве эти люди не заслуживали его ненависти? Белый Клык никогда не задавал себе такого вопроса. Он знал только одно это чувство и весь отдавался ему. Жизнь стала для него адом. Как и всякий дикий зверь, попавший в руки к человеку, он не мог сидеть взаперти. А ему приходилось терпеть неволю.

Зеваки глазели на Белого Клыка, совали палки сквозь решетку; он рычал, а они смеялись над ним. Эти люди будили в нем такую ярость, какой не предполагала наделить его и сама природа. Однако природа дала ему способность приспосабливаться. Там, где другое животное погибло бы

или смирилось, Белый Клык применялся к обстоятельствам и продолжал жить, не ломая своего упорства. Возможно, что дьяволу в образе Красавчика Смита в конце концов и удалось бы сломить Белого Клыка, но пока что все его старания были тщетны.

Если в Красавчике Смите сидел дьявол, то и Белый Клык не уступал ему в этом, и оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у Белого Клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке; теперь же это благоразумие его оставило. Ему достаточно было увидеть Красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. И когда они сталкивались и палка загоняла Белого Клыка в угол клетки, он и тогда не переставал рычать и скалить зубы. Унять его было невозможно. Красавчик Смит мог бить Белого Клыка как угодно и сколько угодно — тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев или же Белый Клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти.

Когда пароход прибыл в Доусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит вые мнил напоказ своего «бойцового волка», и люди платили по пятидесяти центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. А для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства.

Но хуже всего была та атмосфера, в которой он жил. На него смотрели как на страшного, дикого зверя, и это отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Каждое их слово, каждое движение убеждало его в том, насколько страшна людям его ярость. Это лишь подливало масла в огонь, и свирепость Белого Клыка росла с каждым днем. Вот еще одно доказательство податливости материала, из которого он был сделан, — доказательство его способности применяться к окружающей среде.

Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка напоказ, он сделал из него и профессионального бойца. Когда являлась возможность устроить бой, Белого Клыка выводили из клетки и вели в лес, за несколько миль от города. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать столкновения с местной конной полицией. Через несколько часов, на рассвете, появлялись зрители и собака, с которой ему предстояло драться. Белому Клыку приходилось встречать противников всех пород и всех размеров. Он жил в

дикой стране, и люди здесь были дикие, а собачьи бои обычно кончались смертью одного из участников.

Но Белый Клык продолжал сражаться, и, следовательно, погибали его противники. Он не знал поражений. Боевая закалка, полученная с детства, когда Белому Клыку приходилось сражаться с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак, сослужила ему хорошую службу. Белого Клыка спасала твердость, с которой он держался на ногах. Ни одному противнику не удавалось повалить его. Собаки, в которых еще сохранилась кровь их далеких предков — волков, пускали в ход свой излюбленный боевой прием: кидались на противника прямо или неожиданным броском сбоку, рассчитывая ударить его в плечо и опрокинуть навзничь. Гончие, лайки, овчарки, ньюфаундленды — все испробовали на Белом Клыке этот прием и ничего не добились. Не было случая, чтобы Белый Клык потерял равновесие. Люди рассказывали об этом друг другу и каждый раз надеялись, что его собьют с ног, но он неизменно разочаровывал их.

Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Приходилось считаться и с неожиданностью его нападения. Все собаки обычно выполняют перед дракой определенный ритуал — скалят зубы, ощетиниваются, рычат, и все собаки, которым приходилось драться с Белым Клыком, бывали сбиты с ног и прикончены прежде, чем вступали в драку или приходили в себя от неожиданности. Это случалось так часто, что Белого Клыка стали придерживать, чтобы дать его, противнику возможность выполнить положенный ритуал и даже первым броситься в драку.

Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении.

Время шло, и драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и Красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости и пускала в ход и зубы и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами.

Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с

кем было драться — никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим Кинен, по профессии картежный игрок. Кинен привез с собой бульдога — первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна, и для некоторых обитателей города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЦЕПКАЯ СМЕРТЬ

Красавчик Смит снял с него цепь и отступил назад.

И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный, навострив уши, и с любопытством всматривался в странное существо, представшее перед ним. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинен подтолкнул бульдога вперед и сказал:

— Взять его!

Приземистый, неуклюжий пес проковылял на середину круга и, моргая глазами, остановился против Белого Клыка.

Из толпы закричали:

— Взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять, взять его!

Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Кроме того, он не был уверен, что с собакой, стоявшей перед ним, надо вступать в бой. Чероки не привык встречать таких противников и ждал, когда к нему приведут настоящего бойца.

Тим Кинен вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Послышалось низкое, приглушенное рычание. Движения рук человека точно совпадали с рычанием собаки. Когда руки подталкивали Чероки вперед, он начинал рычать, потом умолкал, но на следующее прикосновение отвечал тем же. Каждое движение рук, поглаживавших Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком, и так же, словно голчком, из горла у него вырывалось рычание.

Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинен подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, будьдо! не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его зубами и

отскочил в сторону.

На толстой шее бульдога, около самого уха, показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав, Чероки повернулся и побежал за Белым Клыком. Подвижность Белого Клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Белый Клык прыгнул на бульдога еще и еще раз, рванул его зубами и отскочил в сторону невредимым, а этот необычный противник продолжал спокойно и как бы деловито бегать за ним, не торопясь, но и не замедляя хода. В поведении Чероки чувствовалась какая-то определенная цель, от которой его ничто не могло отвлечь.

Все его движения, все повадки были проникнуты этой целью. Он сбивал Белого Клыка с толку. Никогда в жизни не встречалась ему такая собака. Шерсть у нее была совсем короткая, кровь показывалась на ее мягком теле от малейшей царапины. И где пушистый мех, который так мешает в драках? Зубы Белого Клыка без всякого труда впивались в податливое тело бульдога, который, судя по всему, совсем не умел защищаться. И почему он не визжит, не лает, как делают все собаки в таких случаях? Если не считать глухого рычания, бульдог терпел укусы молча и ни на минуту не прекращал погони за противником.

Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но Белый Клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Желание сцепиться друг с другом до сих пор всегда было обоюдным. Но эта собака все время держалась на расстоянии, прыгала взад и вперед и увертывалась от него. И, даже рванув Чероки зубами, она сейчас же разжимала челюсти и отскакивала прочь.

А Белый Клык никак не мог добраться до горла своего противника. Бульдог был слишком мал ростом; кроме того, выдающаяся вперед челюсть служила ему хорошей защитой. Белый Клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины, а количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за Белым Клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку.

В эту минуту Белый Клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, и без того изодранное в клочья, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки

снова пустился в погоню, бегая внутри круга, который описывал Белый Клык, и стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и Белый Клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок в противоположную сторону.

Время шло. Белый Клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив Белого Клыка за горло, решит исход боя. Пока же ему не оставалось ничего другого, как терпеливо переносить все нападения противника. Его короткие уши повисли бахромой, шея и плечи покрылись множеством ран, и даже губы у него были разодраны и залиты кровью,— и все это наделали молниеносные укусы Белого Клыка, которых нельзя было ни предвидеть, ни избежать.

Много раз Белый Клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика между ними. Чероки был коренастый, приземистый. И на этот раз счастье изменило Белому Клыку. Прыгая и вертясь юлой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый Клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника, он не смог удержаться и со всего размаху перелетел через его спину. И впервые за всю боевую карьеру Белого Клыка люди стали свидетелями того, как «бойцовый волк» не сумел устоять на ногах. Он извернулся в воздухе, как кошка, и только это помешало ему упасть навзничь. Он грохнулся на бок и в следующее же мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки же впились ему в горло.

Хватка была не совсем удачная, она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей Белый Клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Эта волочащаяся за ним тяжесть доводила его до бешенства. Она связывала его движения, лишала его свободы, как будто он попал в капкан. Его инстинкт восставал против этого. Он не помнил себя. Жажда жизни овладела им. Его тело властно требовало свободы. Мозг, разум не участвовали в этой борьбе, отступив перед слепой тягой к жизни, к движению — прежде всего к движению, ибо в нем и проявляется жизнь.

Не о танавливаясь ни на секунду, Белый Клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть пятидесятифунтовый груз, повисший у него на шее А бульдогу было важно только одно: не разжимать челюстей. Изредка, когда ему удавалось на одно мгновение коснуться лапами земли,

он пытался сопротивляться Белому Клыку и тут же описывал круг в воздухе, повинуясь каждому движению обезумевшего противника. Чероки поступал так, как велел ему инстинкт. Он знал, что поступает правильно, что разжимать челюсти нельзя, и по временам вздрагивал от удовольствия. В такие минуты он даже закрывал глаза и, не считаясь с болью, позволял Белому Клыку крутить себя то вправо, то влево. Все это не имело значения. Сейчас Чероки важно было одно: не разжимать зубов, и он не разжимал их.

Белый Клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Ни разу за всю его жизнь ему не приходилось испытывать ничего подобного. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. С ними надо было действовать так: вцепился, рванул зубами, отскочил, вцепился, рванул зубами, отскочил. Тяжело дыша, Белый Клык полулежал на земле. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить навзничь. Белый Клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога, словно жуя его шкуру, передвигаются все выше и выше. С каждой минутой они приближались к горлу. Бульдог действовал расчетливо: стараясь не упустить захваченного, он пользовался малейшей возможностью захватить больше. Такая возможность предоставлялась ему, когда Белый Клык лежал спокойно, но лишь только тот начинал рваться, бульдог сразу сжимал челюсти.

Белый Клык мог дотянуться только до загривка Чероки. Он запустил ему зубы повыше плеча, но перебирать ими, как бы жуя шкуру, не смог — этот способ был не знаком ему, да и челюсти его не были приспособлены для такой хватки. Он судорожно рвал Чероки зубами и вдруг почувствовал, что положение их изменилось. Чероки опрокинул его на спину и, все еще не разжимая челюстей, ухитрился встать над ним. Белый Клык согнул задние ноги и, как кошка, начал рвать когтями своего врага. Чероки рисковал остаться с распоротым брюхом и спасся только тем, что прыгнул в сторону, под прямым углом к Белому Клыку.

Высвободиться из его хватки было немыслимо. Она сковывала с неумолимостью судьбы. Зубы Чероки медленно передвигались вверх, вдоль вены. Белого Клыка оберегали от смерти только широкие складки кожи и густой мех на шее. Чероки забил себе всю пасть его шкурой, но это не мешало ему пользоваться малейшей возможностью, чтобы захватить ее еще больше. Он душил Белого Клыка, и дышать тому с каждой минутой становилось все труднее и труднее.

Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставил на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники

Белого Клыка приуныли и отказывались поставить десять против одного и двадцать против одного. Но нашелся один человек, который рискнул принять пари в пятьдесят против одного. Это был Красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на Белого Клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Это возымело свое действие. Белый Клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Но стоило ему заметаться по кругу с пятидесятифунтовым грузом, повисшим у него на шее, как эта ярость уступила место ужасу. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвивался на дыбы, вскидывал своего врага вверх, и все-таки все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны.

Наконец Белый Клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух. Гром аплодисментов приветствовал победителя, из толпы кричали: «Чероки! Чероки!» Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. Но аплодисменты не помешали ему. Хвост и массивные челюсти действовали совершенно независимо друг от друга. Хвост ходил из стороны в сторону, а челюсти все сильнее и сильнее сдавливали Белому Клыку горло.

И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков. Все, кроме Красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Они направлялись не из города, а в город, возвращаясь, по всей вероятности, из какой-нибудь разведочной экспедиции. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы остановили собак и подошли узнать, что тут происходит.

Один из них был высокий молодой человек; его гладко выбритое лицо раскраснелось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами.

Белый Клык прекратил борьбу. Время от времени он начинал судорожно биться, но теперь всякое сопротивление было бесцельно. Безжалостные челюсти бульдога все сильнее сдавливали ему горло, воздуху не хватало, дыхание его становилось все прерывистее. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени, к тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры Белого Клыка.

Тем временем зверская жестокость Красавчика Смита вытеснила в нем

последние остатки разума. Увидев, что глаза Белого Клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к Белому Клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, Красавчик Смит продолжал бить Белого Клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение: высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда Красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара; перенеся всю тяжесть на левую, он находился в состоянии неустойчивого равновесия. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег.

Молодой человек повернулся к толпе.

— Трусы! — закричал он.— Мерзавцы!

Он не помнил себя от гнева, того гнева, которым загорается только здравомыслящий человек. Его серые глаза сверкали стальным блеском. Красавчик Смит встал и боязливо двинулся к нему. Незнакомец не понял его намерения. Не подозревая, что перед ним отчаянный трус, он решил, что Красавчик Смит хочет драться, и, крикнув: «Мерзавец!», вторично опрокинул его навзничь. Красавчик Смит сообразил, что лежать на снегу безопаснее, и уже не делал больше попыток подняться на ноги.

— Мэтт, помогите-ка мне! — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг.

Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить Белого Клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу. Но все его усилия были напрасны. Стараясь разомкнуть ему челюсти, он не переставал повторять вполголоса: «Мерзавцы!»

Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошеного вмешательства. Но стоило незнакомцу поднять голову и посмотреть на толпу, как протестующие голоса смолкли.

— Мерзавцы вы этакие! — крикнул он снова и принялся за дело.

— Нечего и стараться, мистер Скотт. Так мы их никогда не растащим, — сказал наконец Мэтт.

Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак.

— Крови вышло немного,— сказал Мэтт,— до горла еще не успел добраться.

— Того и гляди доберется,— ответил Скотт.— Видали? Еще выше

перехватил.

Волнение молодого человека и его страх за участь Белого Клыка росли с каждой минутой. Он ударил Чероки по голове—раз, другой. Но это не помогло. Чероки завилял обрубком хвоста в знак того, что, прекрасно понимая смысл этих ударов, он все же исполнит свой долг до конца и не разожмет челюстей.

— Помогите кто-нибудь! — крикнул Скотт, в отчаянии обращаясь к толпе.

Но ни один человек не двинулся с места. Зрители начинали подтрунивать над ним и засыпали его целым градом язвительных советов.

— Всуньте ему что-нибудь в пасть,— посоветовал Мэтт.

Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Он старался изо всех сил, слышно было, как сталь скрипит о стиснутые зубы Чероки. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками.

Тим Кинен шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном:

— Не сломайте ему зубов, незнакомец.

— Не зубы, так шею сломаю,— ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки.

— Говорю вам, не сломайте зубов!—еще настойчивее повторил Тим Кинем.

Но если он рассчитывал запугать Скотта, это ему не удалось.

Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил:

— Ваша собака?

Тим Кинен буркнул что-то себе под нос.

— Тогда разожмите ей зубы.

— Вот что, друг любезный,— со злобой заговорил Тим,— это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать.

— Тогда убирайтесь,— последовал ответ,— и не мешайте мне. Видите, я занят.

Тим Кинен не уходил, но Скотт уже не обращал на нею никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны.

Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры Белого Клыка.

— Держите свою собаку! — скомандовал Скотт Тиму.

Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога.

— Ну! — крикнул Скотт, сделав последнее усилие. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся.

— Уведите его,— приказал Скотт, и Тим Кинен увел Чероки в толпу.

Белый Клык попытался встать — раз, другой. Но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу… Задушенная собака. Мэтт осмотрел его.

— Чуть жив, — сказал он, — но дышит все-таки. Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на Белого Клыка.

— Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака? — спросил Скотт.

Погонщик подумал с минуту и ответил, не поднимаясь с колен:

— Триста долларов.

— Ну, а такая, на которой живого места не осталось? — И Скотт ткнул Белого Клыка ногой.

— Половину, — решил погонщик. Скотт повернулся к Красавчику Смиту.

— Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее полтораста долларов.

Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красавчик Смит заложил руки за спину отказываясь взять протянутые ему деньги.

— Не продаю, — сказал он.

— Нет, продаете, — заявил Скотт, — потому что я покупаю. Получите деньги. Собака моя.

Все еще держа руки за спиной, Красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком.

Красавчик Смит втянул голову в плечи.

— Собака моя… — начал было он.

— Вы потеряли все права на эту собаку, — перебил его Скотт. — Возьмете деньги или мне ударить вас еще раз?

— Хорошо, хорошо, — испуганно забормотал Красавчик Смит. — Но вы меня принуждаете. Этой собаке цены нет. Я не позволю себя грабить. У каждого человека есть свои права.

— Верно, — ответил Скотт, передавая ему деньги. — У всякого человека есть свои права. Но вы не человек, а зверь.

— Дайте мне только вернуться в Доусон, — пригрозил ему Красавчик Смит, — там я найду на вас управу.

— Посмейте только рот открыть, я вас живо из Доусона выпровожу! Поняли?

Красавчик Смит пробормотал что-то невнятное.

— Поняли? — крикнул Скотт, рассвирепев.

— Да,— буркнул Красавчик Смит, попятившись от него.

— Как?

— Да, сэр,— рявкнул Красавчик Смит.

— Осторожнее! Он кусается! — крикнул кто-то, и в толпе захохотали.

Скотт повернулся к Красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с Белым Клыком.

Кое-кто из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой.

К одной из этих групп подошел Тим Кинен.

— Что это за птица? — спросил он.

— Уидон Скотт, — ответил кто-то.

— Какой такой Уидон Скотт?

— Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Если не хочешь нажить неприятностей, держись от него подальше. Ему сам начальник приисков друг-приятель.

— Я сразу понял, что это важная персона, — сказал Тим Кинен. — Нет, думаю, с таким лучше не связываться.

ГЛАВА ПЯТАЯ

НЕУКРОТИМЫЙ

— Нет! Ничего тут не поделаешь! — безнадежным тоном сказал Уидон Скотт.

Он опустился на ступеньку и посмотрел на погонщика, который так же безнадежно пожал плечами.

Оба перевели взгляд на Белого Клыка. Весь ощетинившись и злобно рыча, он рвался с цепи, стараясь добраться до собак, выпряженных из нарт. Собаки же, получив изрядное количество наставлений от Мэтта — наставлений, подкрепленных палкой, понимали, что с Белым Клыком лучше не связываться.

Сейчас они лежали в сторонке и, казалось, совершенно забыли о его существовании.

— Да-а, он волк, а волка не приручишь, — сказал Уидон Скотт.

— Кто его знает? — возразил Мэтт. — Может, в нем от собаки больше, чем от волка. Но в чем я уверен, с того меня уж не собьешь.

Погонщик замолчал и с таинственным видом кивнул в сторону

Лосиной горы.

— Ну, не заставляйте себя просить, — резко проговорил Скотт, так и не дождавшись продолжения, — выкладывайте, в чем дело.

Погонщик ткнул большим пальцем через плечо, показывая на Белого Клыка.

— Волк он или собака — это не важно, а только его пробовали приручить.

— Быть того не может!

— Я вам говорю — пробовали. Он и в упряжке ходил. Вы посмотрите поближе. У него стертые места на груди.

— Правильно, Мэтт! До того как попасть к Красавчику Смиту, он ходил в упряжке.

— А почему бы ему не походить в упряжке и у нас?

— А в самом деле! — воскликнул Скотт.

Но появившаяся было надежда сейчас же угасла, и он сказал, покачивая головой:

— Мы его держим уже две недели, а он, кажется, еще злее стал.

— Давайте спусгим его с цепи — посмотрим, что получится, — предложил Мэтт.

Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Да, да! — продолжал Мэтт. — Я знаю, что вы это уже пробовали, так попробуйте еще раз, только не забудьте взять палку.

— Хорошо, но теперь я поручу это вам.

Погонщик вооружился палкой и подошел к сидевшему на привязи Белому Клыку. Тот следил за палкой, как лев следит за бичом укротителя.

— Смотрите, как на палку уставился, — сказал Мэтт. — Это хороший признак. Значит, пес не так уж глуп. Не посмеет броситься на меня, пока я с палкой. Не бешеный же он в конце концов.

Как только рука человека приблизилась к шее Белого Клыка, он ощетинился и с рычанием припал к земле. Не спуская глаз с руки Мэтта, он в то же время следил за палкой, занесенной над его головой. Мэтт быстро отстегнул цепь с ошейника и шагнул назад.

Белому Клыку не верилось, что он очутился на свободе. Многие месяцы прошли с тех пор, как им завладел Красавчик Смит, и за все это время его спускали с цепи только для драк с собаками, а потом опять сажали на привязь.

Что ему было делать со своей свободой? А вдруг боги снова замыслили какую-нибудь дьявольскую штуку?

Белый Клык сделал несколько медленных, осторожных шагов, каждую

минуту ожидая нападения. Он не знал, как вести себя, настолько непривычна была эта свобода. На всякий случай лучше держаться подальше от наблюдающих за ним богов и отойти за угол хижины. Так он и сделал, и все обошлось благополучно.

Озадаченный этим, Белый Клык вернулся обратно и, остановившись футах в десяти от людей, настороженно уставился на них.

— А не убежит? — спросил новый хозяин. Мэтт пожал плечами.

— Рискнем! Риск — благородное дело.

— Бедняга! Больше всего он нуждается в человеческой ласке, — с жалостью пробормотал Скотт и вошел в хижину. Он вынес оттуда кусок мяса и швырнул его Белому Клыку. Тот отскочил в сторону и стал недоверчиво разглядывать кусок издали.

— Назад, Майор! — крикнул Мэтт, но было уже поздно.

Майор кинулся к мясу, и в ту минуту, когда кусок уже был у него в зубах, Белый Клык налетел и сбил его с ног. Мэтт бросился к ним, но Белый Клык сделал свое дело быстро. Майор с трудом привстал, и кровь, хлынувшая у него из горла, красной лужей расползлась по снегу.

— Жалко Майора, но поделом ему, — поспешно сказал Скотт.

Но Мэтт уже занес ногу, чтобы ударить Белого Клыка. Быстро один за другим последовали прыжок, лязг зубов и громкий крик боли.

Свирепо рыча, Белый Клык отполз назад, а Мэтт нагнулся и стал осматривать свою прокушенную ногу.

— Цапнул все-таки, — сказал он, показывая на разорванную штанину и нижнее белье, на котором расплывался кровавый круг.

— Я же говорил вам, что это безнадежно, — упавшим голосом проговорил Скотт. — Я об этой собаке много думал, не выходит она у меня из головы. Ну что ж, ничего другого не остается.

С этими словами он нехотя вынул из кармана револьвер и, осмотрев барабан, убедился, что пули в нем есть.

— Послушайте, мистер Скотт, — взмолился Мэтт, — чего только этой собаке не пришлось испытать! Нельзя же требовать, чтобы она сразу превратилась в ангелочка. Дайте ей срок.

— Полюбуйтесь на Майора, — ответил Скотт. Погонщик взглянул на искалеченную собаку. Она валялась на снегу в луже крови и была, по-видимому, при последнем издыхании.

— Поделом ему. Вы же сами так сказали, мистер Скотт. Позарился на чужой кусок — значит, спета его песенка. Этого следовало ожидать. Я и гроша ломаного не дам за собаку, которая отдаст свой корм без боя.

— Ну, а вы сами, Мэтт? Собаки собаками, но всему должна быть мера.

— И мне поделом, — не сдавался Мэтт. — За что, спрашивается, я его ударил? Вы же сами сказали, что он прав. Значит, не за что было его бить.

— Мы сделаем доброе дело, застрелив эту собаку, — настаивал Скотт. — Нам ее не приручить!

— Послушайте, мистер Скотт. Дадим ему, бедняге, показать себя. Ведь он черт знает что вытерпел, прежде чем попасть к нам. Давайте попробуем. А если он не оправдает нашего доверия, я его сам застрелю.

— Да мне вовсе не хочется его убивать, — ответил Скотт, пряча револьвер. — Пусть побегает на свободе, и посмотрим, чего от него можно добиться добром. Вот я сейчас попробую.

Он подошел к Белому Клыку и заговорил с ним мягким, успокаивающим голосом.

— Возьмите палку на всякий случай! — предостерег его Мэтт.

Скотт отрицательно покачал головой и продолжал говорить, стараясь завоевать доверие Белого Клыка.

Белый Клык насторожился. Ему грозила опасность. Он загрыз собаку этого бога, укусил его товарища. Чего же теперь ждать, кроме сурового наказания? И все-таки он не смирился. Шерсть на нем встала дыбом, все тело напряглось, он оскалил зубы и зорко следил за человеком, приготовившись ко всякой неожиданности. В руках у Скопа не было палки, и Белый Клык подпустил его к себе совсем близко. Рука бога стала опускаться над его головой. Белый Клык съежился и припал к земле. Вот где таится опасность и предательство! Руки богов с их непререкаемой властью и коварством были ему хорошо известны. Кроме того, он по-прежнему не выносил прикосновения к своему телу. Он зарычал еще злее и пригнулся к земле еще ниже, а рука все продолжала опускаться. Он не хотел кусать эту руку и терпеливо переносил опасность, которой она грозила, до тех пор, пока мог бороться с инстинктом — с ненасытной жаждой жизни.

Уидон Скотт был уверен, что всегда успеет вовремя отдернуть руку. Но тут ему довелось испытать на себе, как Белый Клык умеет разить с меткостью и стремительностью змеи, развернувшей свои кольца.

Скотт вскрикнул от неожиданности и схватил прокушенную правую руку левой рукой. Мэтт громко выругался и подскочил к нему. Белый Клык отполз назад, весь ощетинившись, скаля зубы и угрожающе поглядывая на людей. Теперь уж, наверное, его ждут побои, не менее страшные, чем те, которые приходилось выносить от Красавчика Смита.

— Что вы делаете? — вдруг крикнул Скотт. А Мэтт уже успел сбегать в хижину и появился на пороге с ружьем в руках.

— Ничего особенного, — медленно, с напускным спокойствием проговорил он. — Хочу сдержать свое обещание. Сказал, что застрелю собаку, значит, застрелю.

— Нет, не застрелите.

— Нет, застрелю! Вот смотрите.

Теперь настала очередь Уидона Скотта вступиться за Белого Клыка, как вступился за него несколько минут назад укушенный Мэтт.

— Вы сами предлагали испытать его, так испытайте! Мы же только начали, нельзя сразу бросать дело. Я сам виноват. И… посмотрите-ка на него!

Глядя на них из-за угла хижины, Белый Клык рычал с такой яростью, что кровь стыла в жилах, но ярость его вызывал не Скотт, а погонщик.

— Ну что ты скажешь! — воскликнул Мэтт.

— Видите, какой он понятливый! — торопливо продолжал Скотт. — Он не хуже нас с вами знает, что такое огнестрельное оружие. С такой умной собакой стоит повозиться. Оставьте ружье.

— Ладно. Давайте попробуем. — И Мэтт прислонил ружье к штабелю дров. — Да нет! Вы только полюбуйтесь на него! — воскликнул он в ту же минуту.

Белый Клык успокоился и перестал ворчать.

— Попробуйте еще раз. Следите за ним.

Мэтт взял ружье — и Белый Клык снова зарычал. Мэтт отошел от ружья — Белый Клык спрятал зубы.

— Ну, еще раз. Это просто интересно!

Мэтт взял ружье и стал медленно поднимать его к плечу. Белый Клык сразу же зарычал, и рычание его становилось все громче и громче по мере того, как ружье поднималось кверху. Но не успел Мэтт навести на него дуло, как он отпрыгнул в сторону и скрылся за углом хижины. На прицеле у Мэтта был белый снег, а место, где только что стояла собака, опустело.

Погонщик медленно отставил ружье, повернулся и посмотрел на своего хозяина.

— Правильно, мистер Скотт. Пес слишком умен. Жалко его убивать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НОВАЯ НАУКА

Увидев приближающегося Уидона Скотта, Белый Клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что не потерпит расправы над собой. С тех пор как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый Клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство: впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, Белый Клык знал, какое суровое наказание грозит ему.

Бог сел в нескольких шагах от него. В этом еще не было ничего страшного — обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам Белый Клык находился на свободе. Ничто его не удерживало — ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше.

Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев Белого Клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил, и при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у Белого Клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый Клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с Белым Клыком. В мягких, успокаивающих словах слышалась нежность, и эта нежность находила какой-то отклик в Белом Клыке. Невольно, вопреки всем предостережениям инстинкта, он почувствовал доверие к своему новому богу. В нем родилась уверенность в собственной безопасности — в том, в чем ему столько раз приходилось разубеждаться при общении с людьми.

Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же он снова появился на пороге хижины, Белый Клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия. И здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от Белого Клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, Белый Клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него и

на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность.

Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду — только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но Белый Клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука бога подвигалась все ближе и ближе к его носу. Боги мудры — кто знает, какое коварство таится в этой безобидной с виду подачке? По своему прошлому опыту, особенно когда приходилось иметь дело с женщинами, Белый Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь.

В конце концов бог бросил мясо на снег, к ногам Белого Клыка. Тот тщательно обнюхал подачку, не глядя на нее, — глаза его были устремлены на бога. Ничего плохого не произошло. Тогда он взял кусок в зубы и проглотил его. Но и тут все обошлось благополучно. Бог предлагал ему другой кусок. И во второй раз Белый Клык отказался принять его из рук, и бог снова бросил мясо на снег. Так повторилось несколько раз. Но наступило время, когда бог отказался бросить мясо. Он держал кусок и настойчиво предлагал Белому Клыку взять подачку у него из рук.

Мясо было вкусное, а Белый Клык проголодался. Мало-помалу, с бесконечной осторожностью, он подошел ближе и наконец решился взять кусок из человеческих рук. Не спуская глаз с бога, Белый Клык вытянул шею и прижал уши, шерсть у него на загривке встала дыбом, в горле клокотало глухое рычание, как бы предостерегающее человека, что шутки сейчас неуместны. Белый Клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так мало-помалу он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось.

Белый Клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка — то, о чем Белый Клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры: трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей.

Так и есть! Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И, несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в Белом Клыке.

Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их.

И Белый Клык пошел на сделку с самим собой: он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Рука опускалась. Расстояние между ней и головой Белого Клыка становилось все меньше и меньше. Вот она коснулась вставшей дыбом шерсти. Белый Клык припал к земле. Рука последовала за ним, прижимаясь плотнее и плотнее. Съежившись, чуть ли не дрожа, он все еще сдерживал себя. Он испытывал муку от прикосновения этой руки, насиловавшей его инстинкты. Он не мог забыть в один день все то зло, которое причинили ему человеческие руки. Но такова была воля бога, и он делал все возможное, чтобы заставить себя подчиниться ей.

Рука поднялась и снова опустилась, лаская и гладя его. Так повторилось несколько раз, но стоило только руке подняться, как поднималась и шерсть на спине у Белого К\ыка. И каждый раз, как рука опускалась, уши его прижимались к голове и в горле начинало клокотать рычание. Белый Клык рычал, предупреждая бога, что готов отомстить за боль, которую ему причинят. Кто знает, когда наконец обнаружатся истинные намерения бога! В любую минуту его мягкий, внушающий такое доверие голос может перейти в гневный крик, а эти нежные, ласкающие пальцы сожмутся, как тиски, и лишат Белого Клыка всякой возможности сопротивляться наказанию.

Но слова бога были по-прежнему ласковы, а рука его все так же поднималась и снова касалась Белого Клыка, и в этих прикосновениях не было ничего враждебного. Белый Клык испытывал двойственное чувство. Инстинкт восставал против такого обращения, оно стесняло его, шло наперекор его стремлению к свободе. И все-таки физической боли он не испытывал. Наоборот, чти прикосновения были даже приятны. Мало-помалу рука бога передвинулась к его ушам и стала осторожно почесывать их; приятное ощущение как будто даже усилилось. Но страх не оставлял Белого Клыка; он все так же настораживался, ожидая чего-то недоброго и испытывая попеременно то страдание, то удовольствие, в зависимости от того, какое из этих чувств одерживало в нем верх.

— Ах, черт возьми!

Эти слова вырвались у Мэтта. Он вышел из хижины с засученными рукавами, неся в руках таз с грязной водой, и только хотел выплеснуть ее на снег, как вдруг увидел, что Уидон Скотт ласкает Белого Клыка.

При первых же звуках его голоса Белый Клык отскочил назад и свирепо

зарычал.

Мэтт посмотрел на своего хозяина, неодобрительно и сокрушенно покачав головой.

— Вы меня извините, мистер Скотт, но, ей-богу, в вас сидят по крайней мере семнадцать дураков, и каждый орудует на свой лад.

Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над Белым Клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый Клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел он — смотрел во все глаза— не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины.

— Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт,— разглагольствовал погонщик,— но, я считаю, вы многое утратили в жизни: вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк.

Белый Клык зарычал, услышав голос Мэтта, но на этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее.

И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для Белого Клыка нача лась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума. А Белый Клык должен был преодолеть веления инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь.

Прошлое не только не вмещало всего нового, что ему пришлось узнать теперь, но Опровергало это новое. Короче говоря, от Белого Клыка требовалось неизмеримо большее умение разбираться в окружающей обстановке, чем то, с которым он пришел из Северной глуши и добровольно подчинился власти Серого Бобра. В то время он был всего-навсего щенком, еще не сложившимся, готовым принять любую форму под руками жизни. Но теперь все шло по-иному. Прошлая жизнь обработала Белого Клыка слишком усердно; она ожесточила его, превратила в свирепого, неукротимого бойцового волка, который никого не любил и не пользовался ничьей любовью. Переродиться — значило для него пройти через полный внутренний переворот, отбросить все прежние навыки,— и это требовалось от него теперь, когда молодость была позади, когда гибкость была утрачена и мягкая ткань приобрела несокрушимую твердость, стала узловатой, неподатливой, как железо, а инстинкты раз и навсегда установили потребности и законы поведения.

И все-таки новая обстановка, в которой очутился Белый Клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добрался до самых глубин натуры Белого Клыка и

лаской вызвал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так Белый Клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности — самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами.

Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому Клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у Красавчика Смита; кроме того, Белый Клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на Белом Клыке с тех далеких дней, когда он покинул Северную глушь и подполз к ногам Серого Бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из Северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке Серого Бобра.

И Белый Клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скоп был лучше Красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Он бродил вокруг хижины, когда ездовые собаки уже спали, и первому же запоздалому гостю Скотта пришлось отбиваться от него палкой до тех пор, пока на выручку не прибежал сам хозяин. Но Белый Клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значат походка и поведение.

Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, — тот не знал пощады от Белого Клыка и пускался в поспешное и позорное бегство.

Уидон Скотт задался целью вознаградить Белого Клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее — искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед Белым Клыком и долг этот надо выплатить, — и поэтому он старался проявлять к Белому Клыку как можно больше нежности. Он взял себе за правило ежедневно и подолгу ласкать и гладить его.

На первых порах эта ласка вызывала у Белого Клыка одни лишь подозрения и враждебность, но мало-помалу он начал находить в ней

удовольствие. И все-таки от одной своей привычки Белый Клык никак не мог отучиться: как только рука человека касалась его, он начинал рычать и не умолкал до тех пор, пока Скотт не отходил. Но в этом рычании появились новые нотки. Посторонний не расслышал бы их, для него рычание Белого Клыка оставалось по-прежнему выражением первобытной дикости, от которой у человека кровь стынет в жилах. С той дальней поры, когда Белый Клык жил с матерью в пещере и первые приступы ярости овладевали им, его горло огрубело от рычания, и он уже не мог выразить свои чувства по-иному. Тем не менее чуткое ухо Скотта различало в этом свирепом реве новые нотки, которые только одному ему чуть слышно говорили о том, что собака испытывает удовольствие.

Время шло, и любовь, возникшая из склонности, все крепла и крепла. Белый Клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью — необузданной радостью, пронизывающей все существо Белого Клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались и Белого Клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего утоления.

Белый Клык понемногу находил самого себя. Несмотря на свои зрелые годы, несмотря на жесткость формы, в которую он был отлит жизнью, в характере его возникали все новые и новые черты. В нем зарождались непривычные чувства и побуждения. Теперь Белый Клык вел себя совершенно по-другому. Прежде он ненавидел неудобства и боль и всячески старался избегать их. Теперь все стало иначе: ради нового бога Белый Клык часто терпел неудобства и боль. Так, например, по утрам, вместо того чтобы бродим, в поисках пищи или лежать где-нибудь в укромном уголке, он проводил целые часы на холодном крыльце, ожидая появления Скотта. Поздно вечером, когда тот возвращался домой, Белый Клык оставлял теплую нору, вырытую в сугробе, ради того, чтобы почувствовать прикосновение дружеской руки, услышать приветливые слова. Он забывал о еде — даже о еде, — лишь бы побыть около бога, получить от него ласку или отправиться вместе с ним в город.

И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем такие глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь Белый Клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый Клык не умел проявлять свои чувства. Он был уже немолод и слишком суров для

этого. Постоянное одиночество выработало в нем сдержанность. Его угрюмый нрав был результатом долголетнего опыта. Он не умел лаять и уже не мог научиться приветствовать своего бога лаем. Он никогда не лез ему на глаза, не суетился и не прыгал, чтоб доказать свою любовь, никогда не кидался навстречу, а ждал в сторонке, — но ждал всегда. Любовь эта граничила с немым, молчаливым обожанием. Только глаза, следившие за каждым движением хозяина, выдавали чувства Белого Клыка. Когда же хозяин смотрел на него и заговаривал с ним, он смущался, не зная, как выразить любовь, завладевшую всем его существом.

Белый Клык начинал приспосабливаться к поной жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе; и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле.

Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил Белого Клыка, эта обязанность возлагалась на Мэтта, — и Белый Клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в нарты вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в нарты. Он понял: хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками.

У клондайкских нарт, в отличие от саней, на которых ездят на Маккензи, есть полозья. Способ запряжки здесь гоже совсем другой. Собаки бегут гуськом в двойных постромках, а не расходятся веером. И здесь, на Клондайке, вожак действительно вожак. На первое место ставят самую понятливую и самую сильную собаку, которой боится и слушается вся упряжка. Как и следовало ожидать, Белый Клык вскоре занял это место. После многих хлопот Мэтт понял, что на меньшее тот не согласится. Белый Клык сам выбрал себе это место, и Мэтт, не стесняясь в выражениях, подтвердил правильность его выбора после первой же пробы. Бегая целый день в упряжке, Белый Клык не забывал и о том, что ночью надо сторожить хозяйское добро. Таким образом, он верой и правдой служил Скотту, и у того во всей упряжке не было более ценной собаки, чем Белый Клык.

— Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение, — заговорил как-то Мэтт, — то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку полтораста долларов. Ловко вы провели Красавчика Смита, уж

не говоря о том, что и по физиономии ему съездили.

Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!»

Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе: внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои вещи в чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер; он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дремоту, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в два часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше.

Хозяин не приходил. Утром дверь отворилась, и на крыльцо вышел Мэтт. Белый Клык тоскливо посмотрел на погонщика: у него не было другого способа спросить о том, что ему так хотелось знать. Дни шли за днями, а хозяин не появлялся. Белый Клык, не знавший до сих пор, что такое болезнь, заболел. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Кроме того, в своем письме к хозяину Мэтт приписал несколько строк о Белом Клыке.

Получив письмо в Сёркле, Уидон Скотт прочел следующее:

«Проклятый волк отказывается работать. Ничего не ест. Совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох».

Мэтт писал прайду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на нет собак. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Матту, ко всему на свете. Мэтт пробовал говорить с ним ласково, пробовал кричать — ничего не действовало: Белый Клык поднимал на него потускневшие глаза, а потом снова ронял голову на передние лапы.

Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого Клыка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушивался. Минутой позже Мэп услышал шаги. Дверь отворилась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам.

— А где волк? — спросил он и увидел его.

Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала

бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина.

— Черт возьми! — воскликнул Мэтт. — Да он хвостом виляет!

Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движения его сковывала застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение: чувство глубокой любви засветилось в них.

— На меня, небось, ни разу так не взглянул, пока вас не было, — сказал Мэтт.

Но Уидон Скотт ничего не слышал. Присел на корточки перед Белым Клыком, он ласкал его — почесывал ему за ушами, гладил шею и плечи, нежно похлопывал по спине. А Белый Клык тихо рычал в ответ, и мягкие нотки слышались в его рычании яснее, чем прежде.

Но это было не все. Каким образом радость помогла найти выход глубокому чувству, рвавшемуся наружу? Белый Клык вдруг вытянул шею и сунул голову хозяину под мышку; и, спрягавшись так, что на виду оставались одни только уши, он уже не рычал больше и прижимался к хозяину все теснее и теснее.

Мужчины переглянулись. У Скотта блестели глаза.

— Вот поди ж ты! — воскликнул пораженный Мэтт. Потом добавил: — Я всем да говорил, что это не волк, а собака. Полюбуйтесь на него!

С возвращением хозяина, научившего его любви, Белый Клык быстро пришел в себя. В хижине он провел всего две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыт о его доблести, у них осталось в памяти, что за последнее время Белый Клык был слаб и болен, — и как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон.

— Ну и свалка! — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. — Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует. Ну, еще, еще!

Белый Клык не нуждался в поощрении. Приезда мобимого хозяина было вполне достаточно — чудесная буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один — собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя Белому Клыку о своей покорности.

Научившись прижиматься к хозяину головой, Белый Клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Голову свою он оберегал больше всего и не выносил, когда до нее дотрагивались. Так велела ему Северная

глушь: бойся капкана, бойся всего, что может причинить боль. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. А теперь, прижимаясь к хозяину, Белый Клык по собственной воле ставил себя в совершенно беспомощное положение. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь».

Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббедж на сон грядущий.

— Пятнадцать и два, пятнадцать и четыре, и еще двойка… — подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычание.

Переглянувшись, они вскочили из-за стола.

— Волк дерет кого-то! — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери.

— Посветите мне! — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо.

Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежавшего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов Белого Клыка. И это была не лишняя предосторожность: не помня себя от ярости, Белый Клык старался во что бы то ни стало добраться зубами до горла незнакомца; от рукавов куртки, синей фланелевой блузы и нижней рубашки у того остались одни клочья, а искусанные руки были залиты кровью.

Скотт и погонщик разглядели все это в одну секунду. Скотт схватил Белого Клыка за шею и оттащил назад. Белый Клык рвался с рычанием, но не кусал хозяина и после его резкого окрика быстро успокоился.

Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию Красавчика Смита, пшонщик отскочил назад как ошпаренный. Щурясь на свету, Красавчик Смит огляделся по сторонам. Лицо у него перекосило от ужаса, как только он взглянул на Белого Клыка.

В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку.

Уидон Скотт понимающе кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял Красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух.

А хозяин гладил Белого Клыка и говорил:

— Хотел увести тебя, да? А ты не позволил? Так, так, значит, просчитался этот молодчик!

— Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась, — ухмыльнулся Мэтт.

А Белый Клык продолжал рычать; но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.

Часть пятая

ГЛАВА ПЕРВАЯ
В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

Это носилось в воздухе. Белый Клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Весть о грядущей ггеремене какими-то неведомыми путями дошла до него. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не ггокидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают.

— Послушайте-ка! — сказал как-то за ужином погонщик.

Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как Белый Клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз.

— Чует, в чем дело,— сказал погонщик.

Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз.

— На кой черт мне волк в Калифорнии? — спросил он.

— Вот и я то же самое говорю, — ответил Мэтт. — На кой черт вам волк в Калифорнии?

Но эти слова не удовлетворили Уидона Скотта; ему показалось, что Мэтт осуждает его.

— Наши собаки с ним не справятся, — продолжал Скотт. — Он их всех перегрызет. И если даже я не разорюсь окончательно на одни штрафы, полиция все равно отберет его у меня и разделается с ним по-своему.

— Настоящий бандит, что и говорить! — подтвердил погонщик.

Уидон Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Нет, это невозможно, — сказал он решительно.

— Конечно, невозможно, — согласился Мэтт. — Да вам придется специального человека к нему приставить.

Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул. В наступившей тишине стало слышно, как Белый Клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач, и обнюхивает дверь.

— А все-таки здорово он к вам привязался, — сказал Мэтт.

Хозяин вдруг вскипел:

— Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать.

— Я не спорю, только…

— Что «только»? — оборвал его Скотт.

— Только… — тихо начал погонщик, но вдруг осмелел и не стал скрывать, что сердится: — Чего вы так взъерошились? Глядя на вас, можно подумать, что вы так-таки и не знаете, что делать.

Минуту Уидон Скотт боролся с самим собой, а потом сказал уже гораздо более мягким тоном:

— Вы правы, Мэтт. Я сам не знаю, что делать. В том-то вся и беда… — И, помолчав, добавил: — Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой.

— Я с вами совершенно согласен, — ответил Мэтт, но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина.

— Каким образом он догадывается, что вы уезжаете, вот чего я не могу понять! — как ни в чем не бывало продолжал Мэтт.

— Я и сам этого не понимаю, — ответил Скотт, грустно покачав головой.

А потом наступил день, когда в открытую дверь хижины Белый Клык увидел, как хозяин укладывает вещи в тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэтт то и дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины была нарушена. У Белого Клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит: бог снова готовится к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь.

Этой ночью Белый Клык поднял вой — протяжный волчий вой. Белый Клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из Северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам Серого Бобра.

В хижине только что легли спать.

— Он опять перестал есть, — сказал со своей койки Мэтт.

Уидон Скотт пробормотал что-то и заворочался под одеялом.

— В тот раз тосковал, а уж теперь, наверное, сдохнет.

Одеяло на другой койке опять пришло в движение.

— Да замолчите вы! — крикнул в темноте Скотт. — Заладили одно, как старая баба!

— Совершенно справедливо, — ответил погонщик, и у Скотта не было твердой уверенности, что тот не подсмеивается над ним втихомолку.

На следующий день беспокойство и страх Белого Клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяла и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый Клык заскулил, глядя на эти приготовления.

Вскоре у хижины появились два индейца. Белый Клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал Белого Клыка в хижину.

— Эх ты, бедняга! — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. — Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи на прощанье, порычи, порычи как следует.

Но Белый Клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрягал голову у него под мышкой.

— Гудок! — крикнул Мэтт.

С Юкона донесся резкий вой пароходной сирены.

— Кончайте прощаться! Да не забудьте захлопнуть переднюю дверь! Я выйду через заднюю. Поторапливайтесь!

Обе двери захлопнулись одновременно, и Скотт подождал на крыльце, пока Мэтт выйдет из-за угла хижины. За дверью слышалось тихое повизгиванье, похожее на плач. Потом Белый Клык стал глубоко, всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог.

— Берегите его, Мэтт, — говорил Скотт, когда они спускались с холма. — Напишите мне, как ему тут живется.

— Обязательно, — ответил погонщик. — Стойте!.. Слышите?

Он остановился. Белый Клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве отчаяния.

Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, — и все они стремились уехать из этой страны, так же как в свое время стремились попасть сюда.

Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся: Белый Клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина.

Мэтт чертыхнулся вполголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении.

— Вы заперли переднюю дверь? Скоп кивнул головой и спросил:

— А вы заднюю?

— Конечно, запер! — горячо ответил Мэтт.

Белый Клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.

— Придется увести его с собой.

Мэтт сделал два шага по направлению к Белому Клыку; тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним, но Белый Клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту.

Но стоило хозяину заговорить, как Белый Клык покорно подошел к нему.

— Сколько времени кормил его, а он меня теперь и близко не подпускает! — обиженно пробормотал погонщик. — А вы хоть бы раз покормили с того первого дня! Убейте меня — не знаю, как он догадался, что хозяин — вы.

Скотт, гладивший Белого Клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами.

Мэтт провел рукой ему по брюху.

— А про окно-то мы с вами забыли! Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил.

Но Уидон Скотт не слушал, он быстро обдумывал что-то. «Аврора» дала последний гудок. Провожающие юропливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять Белого Клыка на привязь. Скотт схватил его за руку.

— Прощайте, Мэтт! Прощайте, дружище! Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка… Я… я…

— Что? — вскрикнул погонщик. — Неужели вы…

— Вот именно. Спрячьте свой платок. Я вам сам про него напишу.

Мэтт задержался на сходнях.

— Он не перенесет климата! Вам придется стричь его в жару!

Сходни втащили на палубу, и «Аврора» отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощанье и повернулся к Белому Клыку, стоявшему рядом С ним.

— Ну, теперь рычи, негодяй, рычи, — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам Белого Клыка и почесывая ему за ушами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА ЮГЕ

Белый Клык сошел с парохода в Сан-Франциско.

Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. И никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей — колясок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в огромные фургоны, — а среди них двигались страшные трамваи, непрестанно грозя Белому Клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах.

Все вокруг говорило о могуществе. За всем этим чувствовалось присутствие властного человека, утвердившего свое господство над миром вещей. Белый Клык был ошеломлен и подавлен этим зрелищем. Ему стало страшно. Сознание собственного ничтожества охватило гордую, полную сил собаку, как будто она снова превратилась в щенка, прибежавшего из Северной глуши к поселку Серого Бобра. А сколько богов здесь было! От них у Белого Клыка рябило в глазах. Уличный грохот оглушал его, он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду.

Город пронесся кошмаром, но вое поминание о нем долюе время преследовало Белого Клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона, среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги.

И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул Белого Клыка, — по крайней мере Белый Клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуяв, стал на стражу около них.

— Вовремя пожаловали, — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. — Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов.

Белый Клык вышел из вагона. Опять неожиданность! Кошмар кончился. Он принимал вагон за комнату в доме, который со всех сторон

был окружен городом. Но за этот час город исчез. Грохот его уже не лез в уши. Перед Белым Клыком расстилалась веселая, залитая солнцем, спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый Клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов.

Их ожидала коляска. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею… Это враг! В следующую же минуту Уидон Скоп вырнался из ее объятий и схватил Белого Клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости.

— Ничего, мама! — говорил Скотт, не отпуская Белого Клыка и стараясь усмирить его. — Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего. Он скоро все поймет.

— А до тех пор я смогу выражать свою любовь к сыну голько тогда, когда его собаки не будет поблизости, — засмеялась миссис Скоп, хотя лицо ее побелело от страха.

Она смотрела на Белого Клыка, который все еще рычал и, весь ощетинившись, не сводил с нее глаз.

— Он скоро все поймет, вот увидите, — должен понять! — сказал Скотт.

Он начал ласково говорить с Белым Клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом:

— Лежать! Тебе говорят!

Белому Клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно.

— Ну, мама!

Скоп протянул руки, не сводя глаз с Белого Клыка.

— Лежать! — крикнул он еще раз.

Белый Клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на месю, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и Белый Клык побежал следом за пей, время си времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везут по дороге.

Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. За аллеей по обе стороны расстилался большой луг с видневшимися на нем кое-где могучими дубами. Подстриженную зелень луга оттеняли

золотисто-коричневые, выжженные солнцем поля; еще дальше были холмы с пастбищами на склонах. В конце аллеи, на невысоком пригорке, стоял дом с длинной верандой и множеством окон.

Но Белый Клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый Клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар, но удара этого так и не последовало. Белый Клык остановился на полдороге как вкопанный и осел на задние лапы, стараясь во что бы то ни стало избежать соприкосновения с собакой, которую минуту тому назад он хотел сбить с ног. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Напасть на самку — значило бы для Белого Клыка не больше не меньше, как пойти против велений инстинкта.

Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед Северной глушью, и особенно перед таким ее обитателем, как волк. Белый Клык был для овчарки волком, исконным врагом, грабившим стада еще в те далекие времена, когда первая овца была поручена заботам ее отдаленных предков. И поэтому, как только Белый Клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обежать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны — овчарка не давала ему проходу.

— Назад, Колли! — крикнул незнакомец, сидевший в коляске.

Уидон Скотт засмеялся.

— Ничего, отец. Это хороший урок Белому Клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь.

Коляска удалялась, а Колли все еще преграждала Белому Клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и Белый Клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, К другой лужайке, но она и здесь обогнала его.

А коляска увозила хозяина. Белый Клык видел, как она мало-помалу исчезает за Деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг. Овчарка не отставала. Тогда Белый Клык на всем ходу повернулся к ней. Он решился паевой испытанный боевой прием — ударил ее в плечо и сшиб с ног. Овчарка бежала так быстро, что удар этот не только свалил ее на землю, но заставил по инерции перевернуться

несколько раз подряд. Пытаясь остановиться, она загребала когтями землю и громко выла от негодования и оскорбленной гордости.

Белый Клык не стал ждать. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Не переставая тявкать, овчарка бросилась за ним вдогонку. Он взял напрямик, а уж что касается умения бегать, так тут овчарка могла многому поучиться у него. Она мчалась с истерическим лаем, собирая все свои силы для каждого прыжка, а Белый Клык несся вперед молча, без малейшего напряжения и, словно призрак, скользил по траве.

Обогнув дом, Белый Клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый Клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу, и борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданною удара Белый Клык со всего размаху кубарем покатился по кемле. А когда он вскочил на ноги, вид его был страшен: уши, прижатые вплотную к голове,судорожно подергивающиеся губы и нос, клыки, лязгнувшие в каком-нибудь дюйме от горла борзой.

Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Колли. Подбежав как раз в ту минуту, когда Белый Клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Колли налетела, как шквал. Чувство оскорбленного достоинства и справедливый гнев только разожгли в овчарке ненависть к этому выходцу из Северной глуши, который ухитрился ловким маневром провести и обогнать ее и вдобавок вывалял в песке. Она кинулась на Белого Клыка под прямым углом в гот миг, когда он метнулся к борзой, и вторично сшибла его с ног.

Подоспевший к этому времени хозяин схватил Белого Клыка, а отец хозяина отозвал собак.

— Нечего сказать, хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики, — говорил Скотт, успокаивая Белого Клыка. — За всю «вою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты.

Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый Клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к Белому Клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его

предостережение словами. Белый Клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове.

По команде: «Дик! На место!» — борзая взбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Одна из женщин обняла Колли за шею и принялась ласкан, и гладить ее. Но Колли никак не могла успокоиться и, возмущенная присутствием волка, скулила, в полной уверенности, что боги совершают ошибку, допуская его в свое общество.

Боги поднялись на веранду. Белый Клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на нею. Белый Клык ощетинился и ответил ему тем же.

— Уведите Колли в дом, а эти двое пусть подерутся, — сказал отец Скотта. — После драки они станут друзьями.

— Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, Белому Клыку придется выступить в роли главного плакальщика на ею похоронах, — засмеялся хозяин.

Отец недоверчиво посмотрел сначала на Белою Клыка, потом на Дика и в конце концов на сына

— Ты думаешь, что?.. Уидон кивнул головой.

— Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее — через две. Он повернулся к Белому Клыку.

— Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Колли, а тебя.

Белый Клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы, по-прежнему ожидая, что ему грозит опасность. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг, и готовясь каждую минуту вскочить с места и вступить в бой с теми ужасами, которые, как ему казалось, таились в этой западне.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЛАДЕНИЯ БОГА

Переезды с места на место заметно развили в Белом Клыке умение приспосабливаться к окружающей среде, дарованное ему от природы, и укрепили в нем сознание необходимости такого приспособления. Он быстро свыкся с жизнью в Сиерра-Вистс — так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. Здесь, на Юге, собаки знали обычаи богов лучше, чем он, и в их глазах существование Белою Клыка уже оправдывалось тем фактом, что боги разрешили ему войти в свое жилище. До с их пор Колли и Дику никогда не приходилось сталкиваться с волком, но раз боги допустили его к себе, им обоим не оставалось ничего другого, как подчиниться.

На первых порах отношение Дика к Белому Клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сиерра-Висты. Если бы все зависело от одного Дика, они стали бы друзьями, но Белый Клык не чувствовал необходимости в дружбе. Он требовал, чтобы собаки оставили его в покое. Всю жизнь он держался особняком от своих собратьев и не имел ни малейшего желания нарушать теперь этот порядок пещей. Дик надоедал ему своими приставаниями, и он, рыча, прогонял его прочь. Еще на Севере Белый Клык понял, что хозяйских собак трогать нельзя, и не забывал этого урока и здесь. Но он продолжал настаивать на своей обособленности и замкнутости и до такой степени игнорировал Дика, что этот добродушный пес оставил все попытки завязать дружбу с волком и в конце концов уделял ему внимания не больше, чем коновязи около конюшни.

Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что боги разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для тою, чтобы совсем оставить, его в покое. В памяти у Колли стояли бесчисленные преступления, совершенные волком и его родичами против ее предков. Набеги на овчарни нельзя забыть ни за один день, ни за целое поколение, они взывали к мести. Колли не смела нарушить волю богов, подпустивших к себе Белого Клыка, но это не мешало ей отравлять ему жизнь. Между ними была вековая вражда, и Колли взялась непрестанно напоминать об этом Белому Клыку.

Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял ему нападать

на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. Когда овчарка кидалась на нею, он подставлял под ее острые зубы свое плечо, покрытое густой шерстью, и величественно отходил в сторону; если это не помогало, с терпеливым и скучающим видом начинал ходить кругами, пряча от нее голову. Впрочем, когда она все же ухитрялась вцепиться ему в заднюю ногу, отступать приходилось гораздо поспешнее, уже не думая о величественности. Но в большинстве случаев Белый Клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил.

Белый Клык много чему должен был научиться в Сиерра-Висте. Жизнь на Севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьей хозяина, но это было для него не в новинку. Мит-Са и Клу-Куч принадлежали Серому Бобру, ели добытое им мясо, грелись около его костра и спали под его одеялами; точно так же и все обитатели Сиерра-Висты принадлежали хозяину Белого Клыка.

Но и тут чувствовалась разница, и разница довольно значительная. Сиерра-Виста была куда больше вигвама Серого Бобра. Белому Клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сиерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина — Бэт и Мэри. Была жена хозяина — Элис и наконец его дети — Уидон и Мод, двое малышей четырех и шести лет. Никто не мог рассказать Белому Клыку о всех этих людях, а об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потом, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речь и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался и степени близости каждого из обитателей Сиерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И соответственно всему этому Белый Клык и сам стал относиться к новым богам: то, что ценил хозяин, ценил и он; то, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому.

Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь Белый Клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновения их рук: он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. И когда Уидогг и Мод в первый раз подошли к нему, он предостерегающе зарычал и злобно сверкнул глазами. Удар кулаком и резкий окрик хозяина заставили Белого Клыка подчиниться их

ласкам, хотя он не переставал рычать, пока крошечные руки гладили его, и в этом рычании не слышалось ласковой нотки. Позднее, заметив, что мальчик и девочка дороги хозяину, он позволял им гладить себя, уже не дожидаясь удара и резкого окрика.

Все же проявлять свои чувства Белый Клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Если они уж очень надоедали ему, он вставал и с решительным видом уходил прочь. Но вскоре Уидон и Мод расположили к себе Белого Клыка, хотя он все еще никак не выказывал своею отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах Белого Клыка появляется довольное выражение, которое уступало место чему-то вроде легкой досады, как только они оставляли его для других игр.

Много нового пришлось постичь Белому Клыку, но на все это потребовалось время. Следующее место после детей Белый Клык отводил судье Скотту. Объяснялось это двумя причинами: во-первых, хозяин, очевидно, очень ценил его, во-вторых, судья Скотт был человек сдержанный. Белый Клык любил лежать у его ног, когда судья читал газету на просторной веранде. Взгляд или слово, изредка брошенные в сторону Белого Клыка, говорили ему, что судья Скотт замечает его присутствие и умеет дать почувствовать это без всякой навязчивости. Но так бывало, когда хозяин куда-нибудь уходил. Стоило только ему показаться, и весь остальной мир переставал существовать для Белого Клыка.

Белый Клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать, себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. Никакие ласки не могли вызвать любовных ноток в его рычании. Как ни старались родные Скотта, никому из них не удалось заставить Белого Клыка прижаться к себе головой. Этим выражением безграничного доверия, подчинения и преданности Белый Клык удостаивал одного Уидона Скотта. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него не чем иным, как хозяйской собственностью.

Точно так же Белый Клык очень рано почувствовал разницу между членами семьи хозяина и слугами. Слуги боялись его, а он, со своей стороны, воздерживался от нападений на этих людей только потому, что считал их тоже хозяйской собственностью. Между ними и Белым Клыком поддерживался нейтралитет, и только. Они варили обед для хозяина, мыли посуду и исполняли всякую другую работу, точно гак же как на Клондайке все это делал Мэтт. Короче говоря, слуги входили необходимой составной

частью в жизненный уклад Сиерра-Висты.

Много нового пришлось узнать Белому Клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Снерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов — дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали Белому Клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений Белый Клык постигал закон и больше никогда не нарушал его.

Но сильнее всего действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своею бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни Серый Бобр, ни Красавчик Смит. Их побои были ощутимы только для тела, а дух, гордый, неукротимый дух Белого Клыка продолжал бушевать. Удары нового хозяина были чересчур слабы, чтобы причинить боль, и все-таки они проникали глубже. Хозяин выражал свое неодобрение Белому Клыку и этим уязвлял его в самое сердце.

В сущности говоря, Белому Клыку не так уж часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно; по этому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет, к нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помотал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью.

На Севере единственным прирученным животным была собака. Все остальные жили на воле и являлись законной добычей каждой собаки, если только она могла с ней справиться. Раньше Белому Клыку часто приходилось промышлять охотой, и ему было невдомек, что на Юге дело обстоит по-иному. Убедился он в этом в самом начале своего пребывания в долине Санта-Клара. Гуляя как-то рано утром около дома, он вышел из-за утла и наткнулся на курицу, убежавшую с птичьего двора. Вполне понятно, что ему захотелось съесть ее. Прыжок, сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье — и отважная путешественница встретила свой конец. Курица была хорошо откормленная, жирная и нежная на вкус; Белый Клык облизнулся и решил, что еда попалась неплохая.

В тот же день он набрел около конюшни еще на одну заблудшую курицу. На выручку ей прибежал конюх. Не зная нрава Белого Клыка, он

захватил с собой для устрашения тонкий хлыстик. После первого же удара Белый Клык оставил курицу и бросился на человека. Его можно было бы остановить палкой, но не хлыстом. Второй удар, встретивший его на середине прыжка, он принял молча, не дрогнув от боли. Конюх вскрикнул, шарахнулся назад от прыгнувшей ему на грудь собаки, уронил хлыст, схватился за шею руками. В результате рука его была располосована от локтя вниз до самой кости.

Конюх страшно перепугался. Его ошеломила не столько злоба Белого Клыка, сколько то, что он бросился молча, не залаяв, не зарычав. Все еще не отнимая искусанной и залитой кровью руки от лица и горла, конюх начал отступать к сараю. Не появись на сцене Колли, ему бы несдобровать. Колли спасла конюху жизнь, так же как в свое время она спасла жизнь Дику. Не помня себя от ярости, овчарка кинулась на Белого Клыка. Она оказалась умнее слишком доверчивых богов. Все ее подозрения оправдались: это грабитель! Он снова принялся за свои старые проделки! Он неисправим!

Конюх убежал на конюшню, а Белый Клык начал отступать перед свирепыми зубами Колли, кружась и подставляя под ее укусы то одно, то другое плечо. Но Колли продолжала донимать его, не ограничиваясь на этот раз обычным наказанием. Ее волнение и злоба разгорались с каждой минутой, и в конце концов Белый Клык забыл все свое достоинство и удрал в поле.

— Он не будет охотиться на кур, — сказал хозяин, — но сначала мне нужно застать его на месте преступления.

Случай представился два дня спустя, но хозяин даже не предполагал, каких размеров достигнет это преступление. Белый Клык внимательно следил за птичьим двором и его обитателями. Вечером, когда куры уселись на насест, он взобрался на груду недавно привезенного сена, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез через ее гребень и соскочил на землю. Секундой позже в курятнике началось смертоубийство.

Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазам его предстало любопытное зрелище: конюх выложил на траве в один ряд пятьдесят зарезанных белых леггорнов. Скотт тихо засвистал, сначала от удивления, потом от восторга. Глазам его предстал также и Белый Клык, который не выказывал ни малейших признаков смущения или сознания собственной вины. Он держался очень горделиво, как будто и в самом деле совершил поступок, достойный всяческих похвал. При мысли о предстоящей ему неприятной задаче хозяин сжал губы: затем он резко заговорил с безмятежно настроенным преступником, и в голосе его — голосе бога —

слышался гнев. Больше того: хозяин ткнул Белого Клыка носом в зарезанных кур и ударил его кулаком.

С тех пор Белый Клык уже не совершал налетов на курятник. Куры охранялись законом, и Белый Клык понял это. Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор. Как только живая птица засновала чуть ли не под самым носом у Белого Клыка, он сейчас же приготовился к прыжку. Это было вполне естественное движение, но голос хозяина оставил его остановиться. Они пробыли на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда Белый Клык, поддаваясь инстинкту, бросался за птицей, голос хозяина останавливал его. Таким образом он усвоил еще один закон и тут же, не выходя из этого птичьего царства, научился не замечать его обитателей.

— Такие охотники на кур неисправимы, — грустно покачивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт, когда сын рассказал ему об уроке, преподанном Белому Клыку. — Стоил им только повадиться на птичий двор и попробовать вкус крови… — И он снова с грустью покачал головой.

Но Уидон Скотт не соглашался с отцом.

— Знаете, что я сделаю? — сказал он наконец. — Я запру Белого Клыка на курятнике на целый день.

— Что же будет с курами! — запротестовал отец.

— Больше того, — продолжал сын, — за каждую задушенную курицу я плачу золотой доллар.

— На папу тоже надо наложить, какой-нибудь штраф, — вмешалась Бэт.

Сестра поддержала ее, и все сидевшие за столом хором одобрили это предложение. Судья не стал возражать.

— Хорошо! — Уидон Скотт на минуту задумался. — Если к концу дня Белый Клык не тронет ни одного куренка, за каждые десять минут, проведенные им на птичьем дворе, вы скажете ему совершенно серьезным и торжественным голосом, как в суде во время оглашения приговора: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Выбрав такие места, где их не было видно, все члены семьи приготовились наблюдать за событиями. Но им пришлось потерпеть сильное разочарование. Как только хозяин ушел со двора, Белый Клык лег и заснул. Потом проснулся и подошел к корыту напиться. На кур он не обращал ни малейшего внимания — они для него не существовали. В четыре часа он прыгнул с разбега на крышу курятника, соскочил на землю по другую сторону и степенной рысцой побежал к дому. Он усвоил новый закон. И судья Скотт, к великому удовольствию всей семьи, собравшейся

на веранде, торжественным голосом сказал шестнадцать раз подряд: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Но многообразие законов очень часто сбивало Белого Клыка с толку и повергало его в немилость. В конце концов он твердо уяснил себе, что нельзя трогать и кур, принадлежащих другим богам. То же самое относилось к кошкам, кроликам и индюшкам. Откровенно говоря, после первого ознакомления с этим законом у него создалось впечатление, что все живые существа неприкосновенны. Перепелки вспархивали на лугу из-под самого его носа и улетали невредимыми. Белый Клык дрожал всем телом, но все же смирял в себе инстинктивное желание схватить птицу. Он повиновался воле богов.

Но вот однажды ему пришлось увидеть, как Дик спугнул на лугу зайца. Хозяин тоже видел это и не только не вмешивался, но даже подстрекал Белого Клыка присоединиться к погоне. Таким образом, Белый Клык узнал, что новый закон не распространяется на зайцев, и в конце концов усвоил его целиком. С домашними животными надо жить в мире. Если дружба с ними не ладится, то нейтралитет следует поддерживать во всяком случае. Но другие животные — белки, перепела и зайцы, не порвавшие связи с лесной глушью и не покорившиеся человеку, — законная добыча каждой собаки. Боги защищали только ручных животных и не позволяли им враждовать между собой. Боги были властны в жизни и смерти своих подданных и ревниво оберегали эту власть.

Жизнь в Сиерра-Висте была далеко не так проста, как на Севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки — той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы.

В городе он видел мясные лавки, в которых прямо перед носом висело мясо. Но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Люди останавливались, показывали на него друг другу, разглядывали его со всех сторон, заговаривали с ним и, что было

хуже всего, трогали его руками. Приходилось терпеливо выносить прикосновение чужих рук, но терпением Белый Клык уже успел запастись. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью.

Но Белому Клыку не всегда удавалось отделаться так легко. Когда хозяйская коляска проезжала предместьями Сан-Хосе, мальчишки, попадавшиеся на пути, встречали его камнями. Белый Клык знал, что догнать их и разделаться с ними как следует нельзя. Приходилось поступать вопреки инстинкту самосохранения, и он, заглушая в себе голос инстинкта, становился мало-помалу совсем ручной, цивилизованной собакой.

И все же такое положение дел не совсем удовлетворяло Белою Клыка, хоть он и не знал, что такое беспристрастие и честность. Но каждое живое существо до известной степени обладает чувством справедливости, и Белому Клыку трудно было примириться с тем, что ему не позволяют защищаться от этих мальчишек.

Он забыл, что договор, заключенный между ним и богами, обязывал последних заботиться о нем и охранять его. И вот однажды хозяин выскочил из коляски с хлыстом в руках и как следует проучил сорванцов. После этого они перестали бросаться камнями, и Белый Клык все понял и почувствовал полное удовлетворение. Вскоре Белому Клыку пришлось испытать другой подобный же случай. Около салуна, мимо которого он пробегал по дороге в город, всегда слонялись три пса, взявшие себе за правило бросаться на него. Зная, чем кончаются все схватки Белого Клыка с собаками, хозяин неустанно втолковывал ему закон, запрещающий драки. Белый Клык хорошо усвоил этот закон и, пробегая мимо салуна на перекрестке, всегда попадал в очень неприятное положение. Его злобное рычание сейчас же отгоняло всех трех собак на приличную дистанцию, но они продолжали свою погоню издали, лаяли, оскорбляли его. Так продолжалось довольно долгое время. Посетители салуна даже поощряли собак и как-то раз совершенно открыто натравили их на Белого Клыка. Тогда хозяин остановил коляску.

— Взять их!—сказал он Белому Клыку.

Белый Клык не поверил собственным ушам. Он посмотрел на хозяина, посмотрел на собак. Потом еще раз бросил на хозяина вопросительный и

тревожный взгляд.

Тот кивнул головой.

— Возьми их, старик! Задай им как следует!

Белый Клык отбросил все колебания. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Те не отступили. Началась свалка. Собаки лаяли, рычали, лязгали зубами. Вставшая столбом пыль заслонила поле битвы. Но через несколько минут две собаки уже бились на дороге н предсмертных судорогах, а третья бросилась наутек. Она перепрыгнула канаву, проскочила сквозь изгородь и убежала в ноле. Белый Клык мчался за ней совершенно бесшумно, как настоящий волк, не уступая волку и в быстроте, и на середине поля настиг и прикончил ее.

Это тройное убийство положило конец его неладам с чужими собаками. Слух о происшествии разнесся по всей долине, и люди стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к бойцовому волку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГОЛОС КРОВИ

Месяцы шли один за другим. Еды на Юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой — он жил на Юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву.

И все-таки между Белым Клыком и собаками чувствовалась какая-то разница. Он знал все законы даже лучше своих собратьев, которым не приходилось жить в других условиях, и соблюдал их с большей точностью, — и тем не менее свирепость не изменяла ему, как будто Северная глушь все еще держала его в своей власти, как будто волк, живший в нем, только задремал на время.

Белый Клык не дружил с собаками. Он всегда был одиночкой и намеревался держаться в стороне от своих собратьев и впредь. С первых лет своей жизни, омраченных враждой с Лип-Липом и со всей сворой щенков, и за те месяцы, которые ему пришлось провести у Красавчика Смита, Белый Клык возненавидел собак. Жизнь его уклонилась от нормального течения, и он сблизился с человеком, отдалившись от своих сородичей.

Кроме того, на Юге собаки относились к Белому Клыку с большой подозрительностью: он будил в них инстинктивный страх перед Северной глушью, и они встречали его лаем и рычанием, в котором слышалась ненависть. Он же, со своей сгороны, понял, что кусать их совсем необязательно. Оскаленные клыки и злобно вздрагивающие губы действовали безошибочно и останавливали почти любую разъяренную собаку.

Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Ее злобное, истеричное рычание неотвязно преследовало Бело-го Клыка: Колли не могла простить ему историю с курами и была твердо уверена в преступности всех его намерений. Она находила вину там, где ее еще и не было. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен, и стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как

овчарка поднимала яростный, негодующий лай. Излюбленный способ Белого Клыка отделаться от нее заключался в том, что он ложился на землю, опускал голову на передние лапы и притворялся спящим. В таких случаях она всегда терялась и сразу умолкала.

За исключением неприятностей с Колли, все остальное шло гладко. Белый Клык научился сдерживать себя, твердо усвоил законы. В характере его появились положительность, спокойствие, философское терпение. Среда перестала быть враждебной ему. Предчувствия опасности, угрозы боли и смерти как не бывало. Мало-помалу исчез и ужас перед неизвестным, подстерегавшим его раньше на каждом шагу. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемая ни страхами, ни враждой.

Ему не хватало снега, но сам он не понимал этого. «Кик затянулось лето!» — подумал бы, вероятно, Белый Клык, если бы мог так подумать. Потребность и снеге была смутная, бессознательная. Точно так же в летние дни, когда солнце жгло безжалостно, он испытывал легкие приступы тоски по Северу. Но тоска эта проявлялась только в беспокойстве, причины которого оставались неясными ему самому.

Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в беггенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться, и, когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба поднималась в нем, но на этот раз ей приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог, — что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться.

Научился он и играть с хозяином: позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда но доходило: его зубы щелкали в воздухе, не задевая Скотта. И в конце такой возни, когда удары, толчки, лязганье зубами и рычание становились все сильнее и сильнее, человек и собака вдруг отскакивали в разные стороны, останавливались и смотрели друт на друга. А потом так же внезапно —

будто солнце вдруг проглянуло над разбушевавшимся морем — они начинали смеяться. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал Белого Клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку.

Но, кроме хозяина, никто не осмеливался поднимать такую возню с Белым Клыком. Он не допускал этого. Стоило кому-нибудь другому покуситься на его чувство собственного достоинства, как угрожающее рычание и вставшая дыбом шерсть убивали у этого смельчака всякую охоту поиграть с ним. Если Белый Клык разрешал хозяину такие вольности, это вовсе не значило, что он расточает свою любовь направо и палено, как обыкновенная собака, готовая возиться и играть с кем угодно. Он любил только одного человека и отказывался разменивать спою любовь.

Хозяин много ездил верхом, и Белый Клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. На Севере он доказывал свою верность людям тем, что ходил в упряжи, но на Юте никто не ездил на нартах, и здешних собак не нагружали тяжестями. Поэтому Белый Клык всегда был при хозяине во время его поездок, найдя в этом новый способ для выражения своей преданности. Ему ничего не стоило бежать так хоть целый день. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью и, проделав миль пятьдесят, все так же резво несся впереди лошади.

Эти поездки хозяина дали Белому Клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств, и замечательно то, что он воспользовался им только два раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла, Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону. Она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый Клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдерживать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял на нее.

После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только один раз, причем хозяина в то время не было поблизости. Поводом к этому послужили следующие события: хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего из-под самых ее копыт зайца,

споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый Клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его.

— Домой! Ступай домой! — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана.

Белый Клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал Белому Клыку бежать домой.

Белый Клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. Хозяин заговорил с ним ласковым, но серьезным тоном; Белый Клык насторожил уши, с мучительным напряжением вслушиваясь в слова.

— Не смущайся, старик, ступай домой, — говорил Уидон Скотт. — Ступай домой и расскажи там, что случилось. Домой, волк, домой!

Белый Клык знал слово «домой» и, не понимая остального, все же догадался, о чем говорит хозяин. Он повернулся и нехотя побежал по полю. Потом остановился в нерешительности и посмотрел назад.

— Домой! — раздалось строгое приказание, и на этот раз Белый Клык повиновался.

Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый Клык был весь в пыли и тяжело дышал.

— Уидон вернулся, — сказала мать Скотта.

Дети встретили Белого Клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Он ускользнул от них в дальний конец веранды, но маленький Уидон и Мод загнали его в угол между качалкой и перилами. Он зарычал, пытаясь вырваться на свободу. Жена Скотта испуганно посмотрела в ту сторону.

— Все-таки я в постоянной тревоге за детей, когда они вертятся около Белого Клыка, — сказала она. — Только и ждешь, что в один прекрасный день он бросится на них.

Белый Клык с яростным рычанием выскочил из ловушки, свалив мальчика и девочку с ног. Мать подозвала их к себе и стала утешать и уговаривать оставить Белого Клыка в покое.

— Волк всегда останется волком, — заметил судья Скотт. — На него нельзя полагаться.

— Но он не настоящий волк, — вмешалась Бэт, вставая на сторону отсутствующего брата.

— Ты полагаешься на слова Уидона, — возразил судья. — Он думает, что в Белом Клыке есть собачья кровь, но ведь это только его

предположение. А по виду…

Судья не закончил фразы. Белый Клык остановился перед ним и яростно зарычал.

— Пошел на место! На место! — строго проговорил судья Скотт.

Белый Клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю.

Тут уж Белый Клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу и не находило себе выхода.

— Уж не взбесился ли он? — сказала мать Уидона. — Я говорила Уидону, что северная собака не перенесет теплого климата.

— Он того и гляди заговорит! — воскликнула Бэт. В эту минуту Белый Клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем.

— Что-то случилось с Уидоном, — с уверенностью сказала жена Скотта.

Все вскочили с места, а Белый Клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая модей следовать за собой. Он лаял второй и последний раз в жизни и добился, что его поняли.

После этого случая обитатели Сиерра-Висты стали лучше относиться к Белому Клыку, и даже конюх с искусанной рукой признал, что Белый Клык умный пес, хоть он и волк. Судья Скотт тоже придерживался этой точки зрения и, к всеобщему неудовольствию, приводил в доказательство своей правоты описания и таблицы, взятые из энциклопедии и различных книг по зоологии.

Дни шли один за другим, щедро заливая долину Санта-Клара солнечными лучами. Но с приближением зимы, второй его зимы на Юге, Белый Клык сделал странное открытие, — зубы Колли перестали быть такими острыми: ее игривые, легкие укусы уже не причиняли боли. Белый Клык забыл, что когда-то овчарка отравляла ему жизнь, и, стараясь отвечать ей такой же игривостью, проделывал это до смешного неуклюже.

Однажды Колли долго носилась но лугу, а потом увлекла Белого Клыка за собой в лес. Хозяин собирался покататься до обеда верхом, и Белый Клык знал об этом: оседланная лошадь стояла у подъезда. Белый Клык колебался. Он чувствовал в себе нечто такое, что было сильнее всех познанных им законов, сильнее всех привычек, сильнее любви к хозяину, сильнее воли к жизни. И когда овчарка куснула его и побежала прочь, он оставил свою нерешительность, повернулся и последовал за ней. В тот

день хозяин ездил один, а Белый Клык бегал по лесу бок о бок с Колли, — так же, как много лет назад в безмолвной северной чаще его мать Кичи бегала с Одноглазым.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ДРЕМЛЮЩИЙ ВОЛК

Приблизительно в это же время в газетах появились сообщения о смелом побеге из сан-квентинской тюрьмы одного заключенного, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являвшая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. Это было животное, — правда, животное в образе человека, но тем не менее иначе как хищником его нельзя было назвать. В сан-квентинской тюрьме он считался неисправимым. Никакое наказание не могло сломить его упорство. Он был способен бунтовать до последнего издыхания, не помня себя от ярости, но не мог жить побитым, покоренным. Чем яростнее бунтовал он, тем суровее общество обходилось с ним, и эта суровость только разжигала его злобу. Смирительная рубашка, голод, побои не достигали своей цели, а ничего другого Джим Холл не получал от жизни. Так обращались с Джимом Холлом с самого раннего детства, проведенного им в трущобах Сан-Франциско, когда он был мягкой глиной, готовой принять любую форму в руках общества.

В третий раз отбывая срок заключения в тюрьме, Джим Холл встретил там сторожа, который был почти таким же зверем, как и он сам. Сторож всячески преследовал его, оклеветал перед смотрителем, и Джима лишили последних тюремных поблажек. Вся разница между Джимом и сторожем заключалась лишь в том, что сторож носил при себе связку ключей и револьвер, а у Джима Холла были только голые руки да зубы. Но однажды он бросился на сторожа и вцепился зубами ему в горло, как дикий зверь в джунглях.

После этого Джима Холла перевели в одиночную камеру. Он прожил в ней три года. Пол, стены и потолок камеры были обиты железом. За все это время он ни разу не вышел из нее, ни разу не увидел неба и солнца. Вместо дня в камере стояли сумерки, вместо ночи — черное безмолвие. Джим Холл был заживо погребен в железной могиле. Он не видел человеческою лица, не обменялся ни с кем ни словом. Когда ему просовывали пищу, он рычал, как дикий зверь. Он ненавидел весь мир. Он чем выть от ярости день за днем, ночь за ночью, потом замолкал на недели и месяцы, не издавая ни звука в этом черном безмолвии, проникавшем ему в самую

душу.

А потом как-то ночью он убежал. Смотритель уверял, что это немыслимо, но тем не менее камера была пуста, а на пороге ее лежал убитый сторож. Еще два трупа отмечали путь преступника через тюрьму к наружной стене, — всех троих Джим Холл убил голыми руками, чтобы ничего не было слышно.

Сняв с убитых сторожей оружие, Джим Холл скрылся в горы. Голову его оценили в крупную сумму золотом. Алчные фермеры гонялись за ним с ружьями. Ценой его крови можно было выкупить закладную или послать сына в колледж. Граждане, воодушевившиеся чувством долга, вышли на Холла с ружьями в руках. Свора ищеек мчалась по его кровавым следам. А ищейки закона, состоявшие на жалованье у общества, звонили по телефону, слали телеграммы, заказывали специальные поезда, ни днем, ни ночью не прекращая своих розысков.

Время от времени Джим Холл попадался на глаза своим преследователям, и тогда люди геройски шли ему навстречу или кидались от него врассыпную, к великому удовольствию всей страны, читавшей об этом в газетах за завтраком. После таких стычек убитых и раненых развозили по больницам, а их места занимали другие любители охоты на человека.

А затем Джим Холл исчез. Ищейки тщетно рыскали по его следам. Вооруженные люди задерживали ни в чем не повинных фермеров и требовали, чтобы те удостоверили свою личность. А жаждавшие получить выкуп за голову Холла десятки раз находили в горах его труп.

Все это время газеты читались и в Сиерра-Висте, но не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы. Судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними,— впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда, перед всей публикой Джим Холл заявил, что настанет день, когда ОН отомстит судье, вынесшему этот приговор.

На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму».

Джима Холла «закатали» за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежние судимости Джима Холла, судья Скоттдал ему пятьдесят лет тюрьмы.

Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела, не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены и извращены, что Джим Холл не был

причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и, вынося этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действует рука об руку с полицией. И поэтому, когда судья Скотт огласил приговор, осуждающий Джима Холла на пятьдесят лет жизни, мало чем отличающейся от смерти, Джим Холл, ненавидевший мир, который гак круто обошелся с ним, вскочил со своего места и бесновался от ярости до тех пор, пока его враги, одетые в синие мундиры, не повалили его на пол. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и грозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере… и он убежал оттуда.

Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина, Элис, существовала тайна. Каждую ночь, после того как вся Сиерра-Виста отходила ко сну, Элис вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в холл. А так как Белый Клык не был комнатной собакой и ему не полагалось спать в доме, то рано утром, до того как все встанут, Элис тихонько сходила вниз и выпускала его во двор.

В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несшуюся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. До его слуха доносились звуки шагов. Белый Клык не залаял. Это было не в его обычае. Незнакомый бог ступал очень тихо, но еще тише ступал Белый Клык, потому что на нем не было одежды, которая шуршит, прикасаясь к телу. Он двигался бесшумно. В Северной глуши ему приходилось охотиться за пугливой дичью, и он знал, как важно заслать ее врасплох.

Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Он стоял, не шевелясь, и ждал, что будет дальше. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку; он стал подниматься вверх по лестнице…

И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвилось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился зубами ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался

встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею.

Обитатели Сиерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание. И все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели.

Но шум замер так же внезапно, как и возник. Все это длилось не больше трех минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Снизу, из темноты, доносились булькающие звуки, будто воздух выходил пузырьками на поверхность воды. По временам бульканье переходило в шипение, чуть ли не в свист. Но и эти звуки быстро замерли, и во мраке слышалось только тяжелое дыхание, словно кто-то мучительно ловил ртом воздух.

Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и холл. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней: Белый Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек, лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти.

— Джим Холл!—сказал судья Скотт.

Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на Белого Клыка. Он тоже лежал на боку. Глаза у него были закрыты, но, когда люди наклонились над ним, он приподнял веки, силясь взглянуть вверх, и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скоп погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у Белого Клыка дрогнули и закрылись, все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.

— Кончено твое дело, бедняга, — пробормотал хозяин.

— Ну, это мы еще посмотрим, — заявил судья и пошел к телефону.

— Откровенно говоря, у нею один шанс на тысячу, — сказал хирург, полтора часа провозившись около Белого Клыка.

Первые солнечные лучи, глянувшие в окна, побороли электрический спет. Вся семья, кроме детей, собралась около хирурга, чтобы послушать, что он скажет о Белом Клыке.

— Перелом задней ноги, — продолжал тот. — Три сломанных ребра и по крайней мере одно из них прошло в легкое. Большая потеря крови. Возможно, что имеются и другие внутренние повреждения, так как, по-

видимому, его топтали ногами. Я уже не говорю о том, что все три пули прошли навылет. Да нет, один шанс на тысячу — это, пожалуй, слишком оптимистично. У него нет и одного на десять тысяч.

— Но нельзя терять и этого шанса! — воскликнул судья Скотт. — Я заплачу любые деньги! Надо сделать просвечивание — все, что понадобится… Уидон, телеграфируй сейчас же в Сан-Франциско доктору Никольсу. Вы не обижайтесь, доктор, мы вам верим, но для этой собаки надо сделать все, что можно.

— Ну, разумеется, разумеется! Я понимаю, собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать, как за человеком, как за больным ребенком. И следите за температурой. Я загляну в десять часов.

И за Белым Клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать сиделку и взялись за это дело сами. И Белый Клык вырвал у жизни тот единственный шанс, в котором ему отказал хирург.

Но не следует осуждать хирурга за его ошибку. До сих пор ему приходилось лечить и оперировать изнеженных цивилизацией людей, потомков многих изнеженных поколений. По сравнению с Белым Клыком все они казались хрупкими и слабыми и не умели цепляться за жизнь. Белый Клык был выходцем из Северной глуши, которая никому не позволяет изнежиться и быстро уничтожает слабых. Ни у его матери, ни у его отца, ни у многих поколений их предков не было и признаков изнеженности. Северная глушь наградила Белого Клыка железным организмом и живучестью, и он цеплялся за жизнь и духом и телом с тем упорством, которое в былые времена было свойственно каждому живому существу.

Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за тугих повязок и гипса, Белый Клык долгие недели боролся со смертью. Он подолгу спал, видел множество снов, и в мозгу его нескончаемой вереницей проносились видения Севера. Прошлое ожило и обступило Белого Клыка со всех сторон. Он снова жил в логовище с Кичи; дрожа всем телом, подползал к ногам Серого Бобра, выражая ему свою покорность; спасался бегством от Лип-Липа и завывающей своры щенков.

Белый Клык снова бегал по безмолвному лесу, охотясь за дичью в дни голода; снова видел себя во главе упряжки; слышал, как Мит-Са и Серый Бобр щелкают бичами и кричат: «Раа! Раа!», когда сани въезжают в ущелье и упряжка сжимается, как веер, на узкой дороге. День за днем прошла перед ним жизнь у Красавчика Смита и бои, в которых он участвовал. В эти минуты он скулил и рычал, и люди, сидевшие около него, говорили,

что Белому Клыку снится дурной сон.

Но мучительнее всего был один повторяющийся кошмар: Белому Клыку снились трамваи, которые с грохотом и дребезгом мчались на него, точно громадные, пронзительно воющие рыси. Вот Белый Клык, притаившись, лежит в кустах, поджидая той минуты, когда белка решится наконец спуститься с дерева на землю. Вот он прыгает на свою добычу… Но белка мгновенно превращается в страшный трамвай, который громоздится над ним, как гора, угрожающе визжит, грохочет и плюет на него огнем. Так же было и с ястребом. Ястреб камнем падал на него с неба и превращался на лету все в тот же трамвай. Белый Клык видел себя в загородке у Красавчика Смита. Кругом собирается толпа, и он знает, что скоро начнется бой. Он смотрит на дверь, поджидая своего противника. Дверь распахивается, и страшный трамвай летит на него. Такой кошмар повторялся день за днем, ночь за ночью, и каждый раз Белый Клык испытывал ужас во сне.

Наконец в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое это было торжество! Вся Сиерра-Виста собралась около Белого Клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный Волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный Волк! Бесценный Волк!»

Он попробовал было подняться на ноги, сделал несколько безуспешных попыток и упал. Выздоровление так затянулось, что мускулы его потеряли упругость и силу. Ему было стыдно своей слабости, как будто он провинился в чем-то перед богами. И, сделав героическое усилие, он встал на все четыре лапы, пошатываясь из стороны в сторону.

— Бесценный Волк! — хором воскликнули женщины.

Судья Скоп бросил на них торжествующий взгляд.

— Вашими устами глаголет истина! — сказал он.— Я твердил об этом все время. Ни одна собака не могла бы сделать того, что сделал Белый Клык. Он — волк.

— Бесценный Волк, — поправила его миссис Скотт.

— Да, Бесценный Волк, — согласился судья. — И отныне я только так и буду называть его.

— Ему придется сызнова учиться ходить, — сказал врач. — Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Выведите его во двор.

И Белый Клык вышел во двор, а за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сиерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал.

Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу с каждым шагом

мускулы Белого Клыка наливались силой, кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Колли, а вокруг нее резвились на солнце шестеро упитанных щенков.

Белый Клык посмотрел на них с недоумением. Колли угрожающе зарычала, и он предпочел держаться от нее подальше. Хозяин подтолкнул к нему ногой ползавшего по траве щенка. Белый Клык ощетинился, но хозяин успокоил его. Колли, которую сдерживала Бэт, не спускала с Белого Клыка настороженных глаз и рычанием предупреждала, что успокаиваться еще рано.

Щенок подполз к Белому Клыку. Тог навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и Белый Клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку.

Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Белый Клык удивился и недоуменно посмотрел на них. Потом его снова охватила слабость; он опустился на землю и, поглядывая на щенка, нагнул голову набок. Остальные щенки тоже подползли к нему, к великому неудовольствию Колли, и Белый Клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву.

Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а Белый Клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.